ВРЕМЯ И МЫ

1985 86

НОРМАН ПОДГОРЕЦ И МИЛЬТОН ФРИДМАН ДАЮТ ИНТЕРВЬЮ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

"Я думаю, что если Израиль, не дай Бог, будет уничтожен, то исчезнут и евреи в других странах... Евреи не выдержат второй Катастрофы в нашем столетии".

Норман ПОДГОРЕЦ, редактор "Комментари", стр.120

"Реальная общественная проблема состоит не в том, как устроить, чтобы хорошие люди творили добро, а в том, чтобы обыкновенные люди приносили как можно меньше вреда".

Лауреат Нобелевской премии Мильтон ФРИДМАН, стр.125

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Одиннадцатый год издания

Выходит один раз в два месяца

86
1985

НЬЮ-ЙОРК-ИЕРУСАЛИМ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1985

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
АСЯ КУНИК *(отв.секретарь)*
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДОРА ШТУРМАН *(зам.гл.редактора)*
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине
Juscwa Mischijew
Amsterdamerstr. 14
1000 Berlin 65

OCR и вычитка - Давид Титиевский, май 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Андрей ПЛАТОНОВ
Бессмертие . . . 5
Легенда . . . 25

Лев НАВРОЗОВ
Сто сотых . . . 34
Сладкие дни . . . 42

Дмитрий ШЛЯПЕНТОХ
Воскрешение . . . 56

ПОЭЗИЯ
Иван ЖДАНОВ
Иуда плачет — быть беде . . . 65
Теодор ГЛАНЦ
Мир, похожий на бедлам . . . 73

НАУКА. ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ
Борис МОЙШЕЗОН
О человеческом мышлении и компьютерных идолах . . . 80
Вера ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ
Москва: сентябрь 1985-го . . . 91
Александр ФИН
Еще раз об "алгебре совести" . . . 99

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Норман ПОДГОРЕЦ
Евреи в современном мире . . . 109
Мильтон ФРИДМАН
Правительства против свободного рынка . . . 123

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Лев ТРОЦКИЙ
Почему они каялись *(публикация Ю.Фельштинского)* . . . 134
Р. ИВАНОВ-РАЗУМНИК
Судьбы писателей . . . 209

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"
Путь мастера . . . 234
Digest of this issue . . . 246

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

©"Время и Мы"

ISSN 0737 7061

Андрей ПЛАТОНОВ

БЕССМЕРТИЕ*

После полуночи, на подходе к станции Красный Перегон, закричал и заплакал паровоз ФД. Он пел в зимней тьме глубокой силою своего горячего живота и затем переходил на нежное, плачущее человеческое дыхание, обращаясь к кому-то безответному. Умолкнув на краткое время, ФД опять пожаловался в воздух, причем в его сигнале уже можно было разобрать человеческие слова, и тот, кто слышал их сейчас, должен почувствовать давление своей совести, потому что машина мучилась — на материнском крюке ее тендера висел беспомощный, тяжеловесный состав, а на входном светофоре был сделан красный сигнал. Механик закрыл последнюю отсечку пара — сигнал светил устойчиво — и дал три гудка остановки. Он достал красный платок и вытер лицо, которое ноч-

* В этом рассказе нет фактов, хотя бы в малой мере не соответствующих действительности, и нет фактов, копирующих действительность.

Рассказ печатается с небольшими сокращениями. Полностью будет опубликован в альманахе "Часть речи", посвященном А.Платонову, М Булгакову и М.Зощенко (издательство "Серебряный век").

ной зимний ветер все время покрывал слезами из глаз. Зрение человека начало слабеть, сердце стало чувствительным: машинист пожил на свете, поездил по земле. Он не выругался в тьму на станционных дураков, хотя ему предстояло брать с подъема в упор две тысячи тонн и бандажи паровозных колес будут выбирать своим трением огонь из замерзших рельс.

— Жалко будить Эммануила Семеновича, но придется, — прошептал механик самому себе.

Будка машины содрогалась от мелкой вибрации. Помощник форсировал топку, держа давление в котле до отказа. Клапан баланса то рычал в воздухе паром, то переставал, когда через инжектор приходилось осаживать давление.

— Но придется! — сказал машинист и взял в руку поводок сирены.

Машина опять закричала, запела, заплакала в темную ночь зимы, грозя и жалуясь.

В перерывах между своими сигналами машинист слышал, как где-то в дальнем колхозе забрехали собаки, которых, вероятно, обеспокоил паровоз, а в Перегоне запели петухи станционных служащих.

Теперь в пространстве звучал целый хор голосов: паровоза, петухов и собак...

В одном пристанционном доме, в девичьей комнате, проснулась молодая женщина. Она прислушивалась к голосу знакомого паровоза: она знала все машины перегонского депо по отдельности, как людей с разным характером. Она была домашней работницей начальника станции, и транспорт касался ее интересов.

— Либо тормоза захватило! — заговорила кухарка для себя. — Либо другое сказилось что, а бис-автоматчик спит!.. Ну что ж это такое, ну не мученье, ну не разложенье это делается, — все сердце болит от гадюк!..

Она, босая, подошла к закрытой спальне Эммануила Семеновича, чтобы сказать ему о паровозе, который кричит с перегона. Но в комнату она не вошла: она услышала, что ее хозяин уже говорит по телефону с диспетчером.

— Это ты, Мищенко?.. Чего вы четыреста третий держите на входе?..

Мищенко что-то говорил оттуда в телефон, кухарка стояла за дверью спальни начальника станции.

— Хорошо, принимайте скорее! — сказал Эммануил Семенович. — Утром я найду виноватого... Отчего я не сплю? Нет, я сплю, но мне снится, что у вас происходит... Обожди минуту! Послушай горку!..

Эммануил Семенович положил трубку. Паровозы перестали кричать. Галя пошла от двери обратно к себе и легла в постель. В парке отправления нормально и негромко посвистывал маневровый паровоз. Она слышала, как катились вагоны по морозным рельсам и затем с силою бились дисками буферов о другие вагоны.

— Кто там хулиганит на маневрах? — опять закричал в телефон хозяин из своей спальни. — Почему вагоны на башмак не принимают?.. Где транзитный состав из нулевого парка, отчего я его не слышу? Ему ведь время быть!

Он умолк; ему отвечали по обратной связи.

— Проверьте и позвоните! — сказал Эммануил Семенович. Если там будет так тихо, я все равно уснуть не могу... Что? Нет: я дремать буду. Пусть паровозы свистят, тогда я засну. До свиданья!

Галина вздохнула на своей постели:

— Ну не демоны, не чертячьи это остатки!.. Скажусь-ка я Лазарю Моисеевичу про такую жизнь — напишу ему открытку: нехай негодный народ попеняет, чтоб спать хозяину в сутки давали...

Большое тело Галины болело по транспорту, потому что все люди на станции Красный Перегон, которые были ей симпатичны, тоже тратили свое сердце на железную дорогу. Сперва, когда Галина узнала такую жизнь, она решила: меня нисколько то не касается, откуда люди беду себе в душу пускают, — я пешком буду жить, а грузную тяжесть за плечами унесу, — мне что паровоз, что вагон, ничто ни к чему, — я ведь женщина — девка такая!

Однако Гале вскоре же нечем стало жить: ни для сердца, ни для симпатии, ни для думы не находилось никакого применения, поскольку она хотела существовать пешей в оди-

ночку, а еду носить в котомке за спиною. И тогда, склонившись в силу жизни к людям, она стала разделять их участь и тревогу, а пешей жить, хоть и могла, но не хотела: не стало интереса.

Она долго еще не спала, согреваясь собственным теплом под одеялом от работы своего мощного сердца.

— Ух, ветряка-враг сейчас дует в степи по путям! — думала она. — Люди говорят, от холода рельсы пополам трескаются... Не то нынче треснут, не то нет! Пускай бы уж нет, а то погрузки не будет, Эммануил Семенович опять похудеет. Завтра надо ему сметаны купить. Чегой-то это колхозники возить ее мало стали: сами лопают, зажиточные черти, ишь, морды какие в степях живут! — Галя вспомнила лица знакомых колхозников. — Обрадовались теперь, а раньше, бывало, такие личности казали: одна худоба да чуждость, — мы — селянство! Так бы и вдарила теперь каждого врозь за прежнее. Класс на класс хотели! Я тебе дам класс! Вон он класс, — Галя сделала слабое движение туловищем в сторону комнаты начальника станции, — он спит и слышит...

Сама Галя тоже была колхозница-господарка, однако сердце ее не лежало к одному лишь родному и милому колхозу; это для нее представляло мало радости — масштаб мал.

Она уснула. Телефон молчал над постелью ее хозяина; хозяин тоже спал, и тело его, привыкшее к краткому отдыху, поскорее, поспешно набиралось сил, — сердце обмерло в глубине груди, дыхание сократилось, поддерживая лишь дежурное тление жизни, каждый мускул и каждая жила втайне потягивалась, борясь с уродством, с морщинами дневного напряжения. Но во тьме ума, обильно орошаемого кровью, светилась одна дрожащая точка, она блестела сквозь сумрак полуприкрытых веками глаз, — точно горел светильник на удаленном посту, на входной стрелке главного пути из действительности, и этот кроткий огонь каждое мгновение мог превратиться в обширное сияние всего сознания и пустить сердце на полный ход.

* * *

Наутро Галина взяла котомку начальника станции и пошла на базар. Сколько раз она хотела выбросить эту ветхую, старинную котомку, неудобную, сшитую давно, в старинные года, из кусков юфты и украинского полотна; не однажды Галина латала эту сумку-котомку, и все же она была дурна. Раньше с такими котомками ходили дальние нищие, но и те перестали. Однако Эммануил Семенович любил эту котомку; он с ней прожил в мире всю свою жизнь, исходил и проездил по земле сто тысяч километров или больше, она была его единственным имуществом в детстве, в юности и в зрелом возрасте — на родине в Черкассах, в уссурийской тайге, под Москвою и здесь в Перегоне. Он странствовал с этой котомкой, и она нигде не полнела от богатства, — только окружающее государство добрело от товаров, от многолюдства, от движения тучных поездов. Казалось, что из этой котомки, из рук человека, который ее носит, выходит добро, но сама котомка всегда была пустой.

Вернувшись с базара, Галина уже не застала хозяина; зато около двери закрытой квартиры она встретила составителя поездов Полуторного, который пришел к начальнику станции посоветоваться, где достать петуха для его плимутрокских кур. Галя велела ему пропасть с ее глаз.

— До свиданья, — сказал Полуторный. — Пойду сейчас в кабинет к товарищу Левину Эммануилу Семеновичу. Скажу ему, чтоб хамок у себя не держал, а то персонал оскорбляют, настроенье кадрам портят...

— Ступай, заплачь! — заговорила Галя. — Привыкли, чтоб государство — советская власть — танцевало перед вами, — я вам не она!..

— А что ж ты, раз ты не она? — спросил Полуторный. — Контр, что ль?

— Он! — согласилась Галя.

В кабинет Левина Полуторный попал не сразу, там шло диспетчерское совещание. Потом Эммануил Семенович сам вышел к Полуторному. Составитель сказал, что он не знает, как быть и круглые сутки тоскует: у кур его нету подходя-

щего, достойного петуха; куры те особые, несутся круглый год и теперь мечутся, кричат без петуха, а некоторые уж летать приучились, — высоко поднимаются в воздух, как форменные птицы, и оттуда кудахчут. Сумасшествие природы!

Левин молча глядел в лицо Полуторного: чем только не живет на свете человек, даже курами и петухами может питаться его душа, и в птичьем надворном хозяйстве его сердце, находит себе утешение!

— Понимаю, — тихо сказал Левин. — Я знаю одного куровода в Изюме, он мой знакомый... Сейчас напишу тебе записку к нему — в выходной съездишь. Если у него плимутроков нет, тогда он тебе скажет, где их достать. У него есть друзья среди куриных специалистов. Я все это ему напишу...

Говоря, Левин склонился к столу и уже писал.

Полуторный ушел. Он был доволен: пускай его бабажена займется курами, а им перестанет заниматься. Была бы одна его воля, он давно бы пожарил всех кур на закуску к наливке... Но жизнь его шла косо: приходилось одними и теми же руками сцеплять большегрузные вагоны и щупать кур, мелкую бабью тварь. Полуторный решил и об этом поговорить как-нибудь с товарищем Левиным, пока его душа окончательно не испортилась от жены и не пропала кадровая ценность. Эх, жизнь, когда ты сорганизуешься, чтоб уж не чуять тебя?

Левин попробовал бумаги на своем столе — отношения, рапорты, сведения, ведомости, на седьмом пути свалили вагон, контрольный пост все еще держит поезда... Самому нельзя сделать работу тысячи человек; его система предварительных извещений о прибывающих поездах дает пока слабую пользу. Всякая система работы лишь игра одинокого ума, если она не прогревается энергией сердца всех работников. Здесь, в Перегоне, ему тоже придется проникать внутрь каждого человека, мучить и трогать его душу, чтоб из нее выросло растение, цветущее для всех.

Левин робко улыбался. Он был один; со стыдом и нежностью он думал о своих близких людях, помощниках по работе. Ему давно стало ясно, что транспорт в сущности простое, нетрудное дело; но отчего же он требует иногда не обыкновенного, естественного труда, а страдальческого напряжения?.. Мертвый или враждебный человек — вот трудность! Поэтому нужно постоянно, непрерывно согревать другого человека своим дыханием, держать его близко, чтоб он не мертвел, чтоб он чувствовал свою необходимость и хотя бы от стыда и совести возвращал полученное извне тепло помощи и утешения в виде честной жизни и работы... Но пока далеко не у всех людей душа обращена вперед — в работу и в будущее: у многих она гнездится далеко в тылу, на домашнем дворе, где ходят куры, хозяйствует жена, стареет утварь, изнашивается одежда и ютится ветхая нужда, от которой до костей прозябает всякий человек и тайно плачет слезами себе внутрь, в корень своего тела.

Пришел конторщик. Он начал говорить что-то начальнику про сведения за истекшие сутки. Левин в истекшие сутки тоже жил и поэтому знал про них все. По своей привычке он больше слушал паузы речи, в которые каждый человек неощутимо, почти бессознательно борется с внешним наступлением личных, интимных, потрясающихся сил и сокрушает их, думая, что они не относятся к делу.

— Хорошо, Петр Иванович, — сказал Левин. — Что еще?

— Эммануил Семенович... Разрешите мне дежурить по ночам.

— А что? — спросил Левин.

— Так, — ответил конторщик; его красивое молодое лицо слегка смутилось, но сила скромности и самолюбия возвратила ему спокойствие.

— Напомните мне об этом к концу дня, — сказал Левин.

Конторщик ушел. Левин взял трубку и позвонил домой.

— Галя, ты знаешь нашего конторщика?

Она, конечно, знала его. Все, что ее прямо не касалось, она знала тем более подробно.

— Сходи к нему сейчас домой, займи что-нибудь для хозяйства, попроси веник, поговори с его женой... Ступай, хохлушка, — после мне позвонишь.

Левин встал. Ему пора быть на путях. В кабинет вошел не-

знакомый пожилой человек в старой шинели железнодорожного кондуктора, сшитой лет двадцать тому назад.

— Здравия желаю, начальник!

Здравствуй... Что скажешь?

— Да насчет работы пришел. Тут у вас порядок, вы человек умный, хочу теперь в ногу идти...

— В колхозе был? — спросил Левин.

— Да то где же... О, Господи!

— Почему уходишь оттуда?

— Хозяева дюже умные пошли... У нас там самая тьма командует, кто раньше плетни чужие чинил, а теперь кричит — плановость, основа начала, научность, а сами все сено вчистую в палеток в гной пустили — вымокло. Мы косили его, а оно в прах пошло. По нашей местности, выходит, и солнце зря горит: оно траву воспитывает, а мы ее в гной морим!

Левин слушал, потом спросил:

— Значит, у тебя в колхозе сено преет, а ты только вздыхаешь, ходишь...

— Зачем нам вздыхать, у нас душа болела...

— Болела! — сказал Левин и стал смотреть на этого человека в упор. — Зря она болела, — по-дурацки, по-кулацки она у тебя болела! Ты в стороне стоял, ты ухмылялся, ты думал: а пускай все хряснет в одну ночь к чертовой матери.

— Тьма замучила, — тихо ответил посетитель.

— Но ведь ты-то все понимал! — произнес Левин. — У тебя тоже, значит, тьма в голове...

— Зачем тьма!.. У меня мысль!

— Мысль! Чего ж она не работала, раз сено пропало... Тьма у нас ошибка, а не закон, а если твоя мысль там ничего не сделала, то и у нас она не нужна... Ступай домой, я затворяю кабинет. Ты работать на станции не будешь...

Левин пошел в обход станции. У перрона находился пассажирский поезд. Люди ехали на север — на Харьков, Москву, Ленинград. В Москве работал Каганович, жила жена начальника станции. В сумраке вагонного окна стояла незнакомая женщина. Она скучно глядела на чужой для нее вокзал, на неинтересных людей, — тоже живущих себе здесь в своих надеждах и заботах, — и желала, наверно, чтобы поезд поскорее тронулся отсюда, и она тогда бесследно забудет людей, оставшихся на станции, даже названия этого места потом не вспомнит никогда и не задумается над теми, кто живет в дальних дымящих избушках, которые видны с идущего поезда на степном горизонте.

Начальник станции скромно улыбнулся своей нечаянной мысли. Он подумал, что эта женщина — дура, если так размышляет, но тут же возразил себе: значит, нужно, чтобы она сошла с поезда и осталась работать в Перегоне?

— Да! — резко вслух сказал Левин и засмеялся.

Он вспомнил другую женщину, молодую, одаренную талантом жить чужим чувством, прекрасную, несчастную артистку. Она исчезла где-то без славы, без имени, нищая, гордая и кроткая, никогда не подумав больше о нем, не умея, наверно, чувствовать то, что находится далеко, что давно бесполезно для ее быстро живущего, впечатлительного сердца. Она права, судьба необратима, и у начальника станции есть уже вторая, любимая жена, есть девочка-дочь, с которой он выйдет под руку в свет, в счастье, в настоящую жизнь, когда дочь вырастет в девушку.

Левин рассеянно остановился; потом он пошел обратно к пассажирскому составу. Женщина, смотревшая в окно из вагона, теперь вышла наружу. Она стояла около тамбура, в синем костюме, покрывши голову кашемировой южной шалью. Глаза ее удивленно, а не равнодушно разглядывали незнакомую станцию, служащих, весь местный странный мир. Ей было лет двадцать; свежее сосредоточенное лицо ее смотрело напряженно, одинаково готовое и к улыбке и к печали. Проходя мимо нее, начальник станции поднес руку к козырьку фуражки, и женщина слегка поклонилась ему в ответ.

Одинокий человек, Левин редко видел в лицо тех дальних людей, для которых он работал. "Такой скоро будет моя дочь, — решил Левин про себя, — даже лучше, счастливей... А начальники станций будут не такие, как я: они будут спать по ночам, ездить в отпуск в путешествия, жить в семействе с женою среди родных детей".

* * *

На путях Левина догнала Галя.

— Эммануил Семенович. У конторщика жена на шпалозаводе работает, а ребенок за дверью кричит, а дверь замком закрыта... Ведь это что за жизнь: ну прямо — ничто!..

— За какой дверью? — спросил Левин.

— А в комнате ж, в ихней же хатке... Дитя одно целый день живет: отец же с матерью на работе! Как же так можно, Эммануил Семенович! Их пора организувать!..

— Ступай возьми у конторщика ключ от его хатки, — сказал Левин, — посиди с ребенком, пока отец с работы не придет. Сейчас его некем сменить...

— А обед кто вам сготовит? А кушать чего будете? — воскликнула Галя.

— Не буду кушать, — ответил начальник. — Буду жить натощак...

Галя уперлась руками в бока и подивилась:

— Моя мати!.. Он кушать не будет! На Украине чтоб не ели! А дирекция увидит, а товарищ Левченко опять приедет, а с Москвы кто покажется, да как узнают, да как скажут, — а где твоя кухарка-гадюка, отчего ты постный такой, — а ну пускай кухарка за то дело в лес поедет, десять лет на тыщу человек борщ варить!.. Так добрее же будет взять того мальца в одеяло с собой на квартиру, обед сготовить и с ним поцацкаться...

Левин ушел в парк формирования поездов, затем на горку и на контрольный пост. Ночью замазали, выбили из графика четыре поезда. На маневрах не сокращаются мелкие аварии и несчастные случаи с людьми. Но Левин понимал, что маленькие происшествия — это большие катастрофы, лишь случайно умершие в младенчестве.

Начальник обосновался в будке стрелочника и вызвал к себе ночного командира по отправлению, который еще бродил по путям, не уходя почему-то домой.

— Товарищ Пирогов, — произнес Левин. Раньше ты говорил — тебе негде жить. Мы тебе дали квартиру. Ты утомился, — я тебе наладил путевку на курорт. Тебе не хватало зарплаты, — мы тебе добавили, стали выплачивать премии, компенсации... Дома ты скучаешь, пьешь водку, на дежурстве смазываешь поезда, вагоны у тебя режут стрелки... Что с тобой, товарищ Пирогов? У тебя горе тайное есть?

— Нет никакого горя, начальник...

— Больше у меня нет добра для тебя, я тоже бедный человек, может — беднее, несчастнее тебя! — воскликнул Левин, упустив на мгновение свою волю. — Я сам буду дежурить за тебя сегодня в ночь: ты не приходи, ты опомнись, отдохни, а завтра сходишь в партком. Я попрошу, чтоб у тебя отобрали партийный билет...

Пирогов стоял молча перед Левиным, опухший от ночного ветра, печальный, смутный человек.

— Ступай домой, — сказал Левин.

Пирогов не уходил.

— Калечьте уж до конца, начальник.

Он отвернулся, слезы нечаянно, сами по себе побежали по его лицу теплыми ручьями. Пирогов их не ожидал, он сразу вышел наружу и пошел против ветра, чтоб воздух высушил ему лицо вместо матери.

В будку пришли составители и сцепщики; Левин сказал им, чтоб они говорили только о мелких подробностях работы, главную беду он знает сам.

Составитель Захарченко стал доказывать, что аварии — ерундовое дело, их быть никогда не может.

— А когда у тебя хоппер сошел на стрелке, отчего это было? — спросил Левин.

— У меня был понос от обиды, товарищ начальник, — сказал Захарченко. — Меня рвать вчерашней едой начало от совести...

Но отчего сошел хоппер, он не знал.

— От жадности у тебя сошел хоппер, — объяснил за него Левин. — Ты дремлешь на работе; опоздал посигналить на пост — и стрелку тебе перевели под самым вагоном... Ты жаден, Захарченко! Ты живешь за десять километров отсюда, и дома с женой горшки делаешь на продажу. Сменишься, приедешь, сразу садишься за гончарный круг. Поспишь потом

немного, опять за горшки садишься и кроешь до самого нового дежурства, потом сюда едешь... Сюда ты приезжаешь уже усталый, почти больной, тебе спать надо, а ты за поезда берешься... Сколько ты с женой выгоняешь рублей из горшков?

— Да рублей шестьсот, более никак не выходит, — кротко ответил Захарченко.

— Врешь, больше зарабатываешь, — сказал Левин. — Но это мало на двоих. Я тебя научу, как можно зарабатывать больше: горшки нам нужны, горшков не хватает на Украине. Ты зайди ко мне после смены, я тебе составлю график: когда тебе спать нужно, когда горшки тачать, когда сюда ехать. Ты будешь приезжать к нам свежим, и происшествий у тебя не станет, а горшков успеешь сделать больше. Понял?

— Да давно бы так пора, Эммануил Семенович, — согласился Захарченко. — Горшок тоже серьезная вещь...

— Как жена твоя, — ты ведь женился недавно, — угождает твоему старику?

— Да она ничего, она умильная... Может, потом застервеет...

— Не застервеет: воспитаем, отрегулируем. Ты ее сам не испорть...

— Я ничего, я с ней живу осторожно, товарищ начальник...

— Гляди! — сказал Левин. — Живи хоть дома без аварий, раз здесь не можешь работать хорошо.

Захарченко вышел из будки в совести и в расстройстве. Он подошел к стрелочному сигналу, сел на тяговую штангу и увидел в стекле фонаря отражение своего лица. "Эх ты, жлоб московский, жадный черт! — сказал он в стекло. — Блинцы только любишь глотать... Вагон раз повредил, теперь и родной бабы тебе не доверяют. А все горшки, дьяволы глиняные..."

Через час Левин был на горке и принимал участие в расформировании с центрального поста прибывших составов. Он записал себе в книжку, что не ладило в техническом оборудовании. Каждый день проявлялись какие-либо неполадки, — то замедлители пасовали иногда, то башмаки срабатывались, то в централизации что-нибудь болело. Может быть, это глаз заострялся и видел теперь невидимое раньше, а может быть, технику нельзя было ни на минуту отнимать от груди и внимания человека. На всякий случай Левин полностью не верил ни технике, ни людям, инстинктивно любя то и другое.

На обратном пути в контору Левина догнал Полуторный.

— Эммануил Семенович, хочу вам слово сказать.

— Давай, товарищ Полуторный.

— Жена мне давеча ватрушку на пост приносила, хочет французский язык учить, — учитель в Перегоне явился...

— Пускай учится, — сказал Левин.

Нельзя, Эммануил Семенович, это ведь блажь организуется тогда! Плимутроков уже теперь ей не надо, петуха тоже долой... Хочу, говорит, один французский язык, это культурность! А до плимутроков она наборному делу училась, но бросила, вредно, говорит, и цвет лица портится от свинца. Потом, стало быть, шофером хотела быть, агрономию учила, цветы воспитывала, из ружья в точку стреляла, детей чужих в саду за ручки водила, — и все ни к чему. А потом за куроводство взялась, а сейчас на французский перешла...

— Тебя она часто ругает? — спросил Левин.

— Сквозь... Как только заметит, что человек — я, стало быть, — явился, так и пошла: гыр-гыр-гыр-гыр, гыр-гыр-гыр-гыр...

Левин остановился около столба и, прислонив к нему блокнот, написал записку...

Знаешь, где редакция "Транспортника"? Отдашь эту записку товарищу Левартовскому, редактору. Он позовет твою жену на работу, — я ему позвоню, в чем дело. Пока они так ее потерпят, — без французского, а потом заставят учить в обязательном порядке, как журналистку... Она в игрушки у тебя играет, нехай займется настоящей службой, а французский язык сначала на приманку пойдет, а потом уж всерьез. Сперва пусть хоть воду в графины наливает.

Полуторный стоял в счастливом удивлении.

— Ну, Эммануил Семенович, ты целый центнер с меня снял...

— Какой центнер?

— А женщина моя! — жена, которая журналисткой будет! Она ровно центнер до обеда весит, — мещанка такая!.. Ну

теперь я вдарю по труду, Эммануил Семенович! Теперь вручную вагоны буду катать, раз баба мне сердце не травит!

* * *

Время проходит, больше половины жизни прожито... Все лучшие, зрелые годы после окончания института Э.С.Левин прожил одиноким. Дружил он наиболее прочно и постоянно, в сущности, только с железнодорожным пролетариатом, — дружил посредством личного знакомства, взаимной помощи в работе и симпатии. Без личной связи с людьми Левин не понимал отношения к рабочему классу: чувство не может быть теоретическим. Но чувство приобретает силу и смысл лишь в общем действии друзей и товарищей, в бедствии и счастьи трудного труда.

Левин вернулся с работы домой. Тьма слабела на небе. Человек, не сняв шинели, стал у окна в своей комнате и прислушался к шуму удаляющихся тяжелых поездов, убегающих в рассвет. Сегодня Левин сам расшил ночной график, выбросил все поезда со станции, принял на сортировку прибытие и приготовил под отправление на утро новые составы.

Последний маршрут утихал вдали; лишь слышно было, как паровоз во весь клапан, на большом форсе, брал подъем. Левин открыл форточку, чтоб дольше, яснее слышать работу поезда. Не в пирушках с друзьями, не в полуночных спорах и даже не в тепле домашнего благоустроенного счастья находил он удовлетворение и наслаждение. Он мог уснуть за беседой об истине жизни и мгновенно проснуться от тревожного гудка паровоза. Он отводил от себя руки жены и друзей, чтобы уйти в полночь на станцию, если чувствовал там горе и беспокойство. В вагонах лежали товары — плоть, душа и труд миллионов людей, живущих за горизонтом. Он чувствовал их больше, чем верность друзей, чем любовь к женщине. Любовь должна быть первой службой и помощью для его заботы о всех незнакомых, но близких людях, живущих за дальними концами рельсовых путей из Перегона. Он любил и воображал всех удаленных, откуда прибывают и куда уходят тяжкие поезда. Наслаждение же одним любимым существом

само по себе ничто, если оно не служит делу ощущения и понимания тех многих существ, которые скрыты за этим единственным человеком...

Спать уже поздно было... Левин сам погладил и поласкал руками свое тело, зашедшееся от усталости. Но в нем еще много томилось цельной, чистой силы, — и странно было желание скорее растратить эту силу, истомить себя в труде и заботе, чтобы уже другое, незнакомое, лучшее, счастливое сердце воспользовалось результатом расточенной, беспощадной к себе жизни, а сам Левин, казалось ему, не смог бы никогда жить полноценно. Он себя считал временным, проходящим существом, которое быстро минует в историческом времени, — и больше не будет таких встревоженных, неинтересных, озадаченных вагонами и паровозами людей, и, может быть, — хорошо, что их не будет.

Левин с тоскою стал гладить дерево на поверхности стола; ему захотелось разбудить Галю и поговорить с ней, как с сестрой, может быть, пожаловаться ей или кому-нибудь еще, любому человеку, если б явился человек.

Но Левин молчал всю жизнь, когда ему было больно, и первая боль до сих пор не прошла. Может быть, именно тогда — в детстве — его душа была потрясена настолько, что начала разрушаться и заранее почувствовала свою далекую смерть. Он всегда мог представить себе с точностью тот детский, все же милый день прекрасной, бедной жизни. Он сидел в школе, рядом с русским мальчиком Володей. Вошел отец Давид начался урок по закону Божьему. Священник спросил Володю; мальчик неловко встал за партой и нечаянно небрежно оперся на нее. Отец Давид посмотрел молча на Володю, потом сказал: "Посидел вот рядом с жидом, а теперь держать себя не умеешь... Надо вас рассадить". Весь класс, все ученики молча посмотрели на маленького Эммануила, и Эммануил заметил улыбку, удовлетворение, удовольствие на лицах своих товарищей. Эммануил робко приоткрыл рот, чтоб свободнее было дышать от муки и сердцебиения, и весь урок глядел в парту, где чей-то ножик вырезал два слова: "Хочу домой". Сам отец Давид был крещеный еврей.

Левин ушел обратно на станцию; иногда ему не хотелось быть одному. От вокзала к нему навстречу бежал без шапки сторож и уже издали открывал рот, чтобы кричать что-то начальнику станции. Левин побежал ему навстречу.

— Скорей, Эммануил Семенович, вас там буква Ц из Москвы по телефону спрашивает. Вся контора испугалась... Транзитный на север задержали, — дежурный думает, может, понадобится что везти: кто ее знает...

— Скажи, чтоб сейчас же выбросили поезд! — закричал Левин. — Кто задержал отправление?

— Товарищ Едвак, — ответил сторож. — Кто ж, как не он!

В аппаратной комнате присутствовало уже человек двадцать, которым не было терпенья от интереса. Левин велел уйти всем, закрыл дверь и взял трубку.

— Я ДС Красный Перегон. Слушаю.

— А я Каганович. Здравствуйте, товарищ Левин. Вы почему так скоро подошли к аппарату? Когда вы успели одеться? Вы что — не спали?

— Нет, Лазарь Моисеевич, я только пошел спать.

— Пошли только! Люди ложатся спать вечером, а не утром... Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя в Перегоне, я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы спите, но не делайте из меня вашу няньку…

Левин стоял безмолвный; он давно любил своего московского собеседника, но никогда никаким образом не мог высказать ему свое чувство непосредственно: все способы были бестактны и неделикатны.

— В Москве сейчас тоже, наверно, ночь, Лазарь Моисеевич, — тихо произнес Левин. — Там тоже не с утра люди спать ложатся.

Каганович понял и засмеялся.

— Выдумали что-нибудь нового, товарищ Левин?

— Здесь людей заново приходится выдумывать, Лазарь Моисеевич...

— Самое трудное, самое нужное... И говорил дальний, ясный голос; слышен был тонкий, стонущий гул электрического усиления, напоминая обоим собеседникам о долгом пространстве, о ветре, морозах и метелях, об их общей заботе.

Левин сообщал, как работает станция.

Нарком спросил, чем ему надо помочь.

Левин не знал вначале, что сказать.

— Вы уже помогли мне, Лазарь Моисеевич. Я теперь передумаю сам себя заново.

Пауза. Опять стала слышна работа усиления: печальный скулящий звук электромагнитного возбуждения, преодолевающего огромную шаровую выпуклость земли. Оба человека молча слушали его мучение энергии, дрожащей сквозь расстояние.

— Меня зима тревожит, товарищ Левин, — медленно сказал Каганович. — Она еще долго будет идти...

Левин выждал время и ответил:

— Ничего, Лазарь Моисеевич... Мы будем работать, зима пройдет.

Молчание. Левин хотел еще многое сказать, но волнение изменило ему голос, он боролся с тайным стыдом взрослого, счастливого человека.

— Не утешайте, Левин, самого себя, — произнес нарком. — Зиму надо пережить, вырасти за нее, а не привыкать к мысли, что она, мол, пройдет. Человек не должен привыкать даже к самому себе, иначе он помирится со всем миром, а он еще плох... Пишите мне письма или вызывайте к аппарату. Ложитесь спать, будьте здоровы!

Левин отошел от аппарата и попробовал свои ребра под шинелью. Он пожалел, что в его теле не так много добра, чтоб можно было прожить еще новый век без сна.

* * *

Один помощник Левина имел лицо заклятого врага турецкого султана. Это был Ефим Едвак, редкий человек на свете. Он сделать мог все, но без крайней нужды не предпринимал ничего. Лишь непосредственная угроза смерти заставляла его совершать жизнь и движение. Главным всеобщим злом Едвак считал простое обстоятельство: люди работают сегодня то, что полагается делать не ранее завтрашнего дня. Отсюда все и пошло крутиться и мучиться. Поэтому сам Едвак начи-

нал творить всякое дело лишь в последнюю минуту, но делал его хорошо и кончал вовремя. Левин давал ему часто тяжелые поручения с кратким сроком. Но Едваку достаточно было только понять, и тогда он сделает любое мероприятие, сам же он не придумывал и не мудрил ничего. В свободное, домашнее время Едвак играл на балалайке, пил настойку, звал девиц и плясал с ними, пока не приходил от веселья в отчаяние. Человек большого, но неподвижного ума, он жил, как старинный бурлак, мог работать, как артист, мог до гроба ничего не делать. Женщины, сколько их ни было, долго его не терпели. Наверно, у Едвака душа была такой просторной емкости, что там ни одна женщина не сумела построить семейного гнезда, чувствуя себя, как воробей в пустой цистерне.

— Бушуешь? — спросил однажды Левин у Едвака.

— Живу, — ответил Едвак.

Раньше Едвак работал на большом харьковском заводе. Левин хотел с ним посоветоваться: нельзя ли позаимствовать что-либо от заводов для улучшения работы станции. Ведь заводы давно уже пользуются опытом работы железных дорог. Например, конвейер, диспетчерская связь, сигнализация.

— Можно, — сказал Едвак, — только ни к чему. У нас командиры привыкли скопом, народом брать. Где одного нужно, они троих держат. У нас привыкли не думать, а терпеть...

— А разве ты думаешь? Ты тоже на работе молчишь, а дома пляшешь...

— Я думать не берусь, я не тот человек, а пляшу я от горя, от безобразия на этом пункте своей жизни — В Красном, бордовом Перегоне!..

Лицо Едвака покрылось бурым цветом от внезапно возбудившегося сознания: давно он так ничего не сознавал; даже усы его затвердели и приподнялись, будто построенные из рыбьих костей.

— Нарком сказал, что привычка нас губит. Человек должен уметь отвыкать и жить заново...

— Слыхал, — сказал Едвак. — Он нарком, а я нет.

— Ты нет, — произнес Левин. — Ты вчера два поезда задержал на десять минут, два вагона перекидывал — пять сцепщиков нагнал. Тебе бы надо моим дедом быть: тот три телеги нанимал, когда нужна была одна. Первая не приедет, у второй шкворень согнется, а уж третья как-нибудь явится...

Едвак осовел от обиды.

— Ты мне, начальник, давай потяжельше дела, по слабым я слаб... Перекидка — пустая вещь, там дежурный был, а я этюд другого порядка.

— Значит, вы двое там командовали, — людям работать мешали!..

Левин поручил Едваку обдумать, как перевести некоторые работы станции на заводской способ. Едвак, не собиравшийся думать вовек, задумался тут же. Он привлек все свои воспоминания о заводах, о гаражах, о колхозах, даже о женщинах, и целиком озадачился проблемой. Левин остался доволен. Бурлачество, дикость, проживание впустую своего ума и сердца — это лишь общественный форс и искаженная маска талантливой и гордой, когда-то обиженной натуры. Втайне Едвак серьезный человек, и ему достаточно будет дать дело по плечу и по самолюбию, чтобы он выздоровел.

Вечером Левин лежал дома, уткнувшись головой в подушку, но одетый. Иногда у него сильно болела голова, сердце билось больно и близко, словно о кости скелета. Однако это состояние скоро проходило, нужно лишь молча перетерпеть его. Ночью, отдохнув немного, Левин опять ушел на станцию. Ничего опасного там сейчас не было, но Левину дома стало скучно; он верил, что преходящему, временному человеку жить самому с собой нечем. Настоящие, будущие люди, может быть, уже родились, но он к ним себя не относил. Ему нужно было круглые сутки отвлекаться от себя, чтобы понять других; ущемлять и приспосабливать свою душу ради приближения к другой, всегда завороженной, закутанной человеческой душе, чтобы изнутри настроить ее на простой труд движения вагонов. Чтобы слышать все голоса, нужно самому почти онеметь.

Левин, согнувшись, шел по путям в дальний парк прибытия. "Нельзя ли систему предварительной информации начи-

нать в месте формирования поездов?" — подумал он и улыбнулся. Как странно, он привык страстно размышлять лишь о своей работе. Какой он скучный человек! Разве может с ним интересно жить какой-нибудь другой человек? Едва ли!.. Сколько еще осталось жизни? Ну, лет двадцать, нет — меньше, надо прожить скорее; ведь неудобно будет в светлом мире, в блестящем обществе существовать такой архаической фигуре: оборот вагона, снижение нормы простоя, коммерческая скорость, график...

— Нет! — вслух засмеялся одинокий начальник станции. — Таких чертей там не будет: вымрут! Или останутся где-нибудь на пенсии, сидеть на завалинке и будут рассказывать, как слепые деды...

Левин вспомнил детей, когда они слушают слепого старика. Они не понимают его слов и не придают им значения. Они смотрят на его глаза, на ветхое лицо, их интересует лишь, что он старый, слепой, а не умирает: они бы на его месте умерли.

В полночь начальник вернулся домой. Галя уже спала. "Надо ее подучить и отправить работать на горку, — решил Левин. — Что ее держать, зачем тратить ее жизнь на услуги для одного человека? Безобразная вещь!"

Он лег в постель, стараясь скорее крепко уснуть — не для наслаждения покоем, а для завтрашнего дня. Он долго еще слышал работу парков прибытия и отправления, нулевой парк, транзит, горку, маневры... Сигналы паровозов были нормальны, на выхода выбрасывались поезда, поездные паровозы пели на удаление. — Левин забывался, свет его покрасневших от бессоницы глаз угасал во внутренней тьме беспамятства.

Через час зазвонил телефон.

— Собаки! — проснувшись в своей комнате, сказала Галя.

Левин открыл налившиеся кровью глаза. Шинель и вся одежда висела у него на спинке кровати. На всякий случай он сразу взялся рукой за шинель, чтобы надеть ее прямо на белье, если понадобится, и проверил взглядом, где стоят сапоги.

— Я! — сказал он в трубку.

— Ничего, начальник, это я — Едвак. Из Москвы спрашивали по селектору: как ваше здоровье, спите вы или нет. Как будто вы великий, бессмертный человек!.. Я сказал, — Левин спит спозаранку: чтоб они больше не шумели из Москвы.

— Ты же меня разбудил теперь!

— Неважно: крепче заснешь, — сказал Едвак.

Левин посидел немного на кровати, просто оделся и ушел на станцию. Ему пришло соображение относительно увеличения нормы нагрузки вагона, и он хотел сейчас поговорить с вагонниками. Запас прочности в осевой шейке достаточно велик, можно добавить нагрузку.

ЛЕГЕНДА

Марья Васильевна жила в избе на опушке густого лиственного леса. Муж ее был лесным сторожем, и они давно жили в этом лесу. Здесь же у них родился сын Митя, которому сейчас сравнялось четыре года.

Семейство лесника жило мирно и хорошо, но в последний год Марья Васильевна стала сильно хворать, и она часто подолгу смотрела жалостными глазами на своего маленького Митю, словно чувствуя, что она скоро умрет и не успеет наглядеться на своего сына.

Нынче Марья Васильевна вовсе занемогла. Однако, как и прежде, она поднялась с зарею, и весь день некогда было ей прилечь, потому что нужно было много работать по дому и по хозяйству. От болезни она стала худой, сгорбленной и маленькой, но она никому не жаловалась на свою болезнь и постоянно жила в работе и заботе.

К полудню Марья Васильевна немного отделалась и присела на лавку. Тихо было во дворе и в поле и в лесу. Шло теплое лето, росли деревья в лесу, и зрела рожь на нивах. Митя ушел с утра: он играл где-нибудь в поле или в лесу, разговаривая там с бабочками, жуками, с цветами и муравьями. Он вырос один, у него не было друзей, только с осени он пойдет учиться в деревню и тогда у него будут товарищи в школе. А те-

перь он жил лишь с отцом, с матерью и привык дружить со всеми маленькими людьми. Митя называл маленькими людьми всех, кто живет и водится в земле и летает над нею — червей, муравьев, мух, стрекоз, воробьев, бабочек, пауков, зеленую тлю и всяких мошек, всех, кто движется и дышит на свете.

Отец Мити уехал на два дня в город, в лесную контору, там у него было дело, и он хотел еще привезти доктора, чтобы доктор лечил мать Марью Васильевну от болезни.

Марья Васильевна открыла окошко, что выходило в ржаное поле, и послушала — не играет ли, не шумит ли где ее Митя. Но в поле было тихо, не слышно было ни одного голоса, лишь ветер шел один по миру и шевелил листья и колосья, дремлющие в солнечном тепле.

Марья Васильевна прилегла на лавку: ей худо стало от болезни. В чистой избе никого не было, только один подсолнечник, росший за окном.

Марья Васильевна вскоре очнулась, но ей показалось, что уже вечер наступил на дворе и солнце заходит. Матери было томительно дышать, вся внутренность ее горела жаром, и от слабости она не могла подняться.

— Митя! — тихо позвала мать. — Митя, ты где? Дай мне кружку с водой!

Но сын ей не ответил. Его не было за окном, он играл где-то далеко с маленькими людьми, он заигрался с ними и забыл о своей матери.

— Митя! — шептала бессильная мать, лежавшая на лавке. — Митя! Поди корову с поляны приведи и сена ей на ночь положи. А я встану потом, мне полегчает, я подою ее тогда... Иди ко мне, посиди-поговори со мной, а то я одна лежу...

Матери показалось, что в ржаном поле раздался голос Мити, слабый и добрый, будто нечаянно воскликнул что-то безмолвный цветок. Когда Митя был меньше, то голос его походил на голос цветов, как если бы они заговорили; так представлялось тогда его матери и так почудилось ей теперь.

— Сынок, иди домой, просила мать. — Пора уж, вечер во дворе.

Мать прислушалась, но более не услышала сына.

"Пусть он бегает, пусть играет, раз ему там хорошо, — подумала мать. — Его дело детское... А мне пора подыматься!"

Ей некогда было болеть и нельзя умирать. Кто без нее сына и мужа обошьет и обстирает, кто за коровой ухаживать будет, кто обед в избе состряпает? Она вспомнила, что ей сейчас надо картошек сварить, надо рубашки зашить, надо свинье на ночь корму намесить, надо хворосту на завтрашний день принести, — все это надо было, а то как же! А завтра надо с утра рассаду в огороде поливать — на дворе сушь стоит, — потом просо надо полоть, потом ягодник обобрать, потом в колхоз надо сходить, там требуют помощи на уборке сена. У матери кругом была забота, вся жизнь шла от нее.

Голос Мити послышался во дворе.

— А тебе не пора ко двору? — позвала его мать.

— Пора, мама, — ответил сын и пришел в избу.

Мать взглянула на него обрадованными глазами. Каждый раз она видела его как внове, как в первый раз, потому что любила его. Всякий раз она быстро и внимательно оглядывала всего сына: целы и не повреждены ли его руки и ноги, глаза, нос и уши, потом она брала его руки и перебирала пальцы на них: все ли пальцы здоровы и находятся ли они на своих местах.

Митя стоял перед матерью и улыбался ей. За лето волосы его выгорели и стали белыми, как у старика, а босые ноги, лицо и руки теперь были темными от солнца, от ветра, от комариных укусов и болячек, и лишь одни серые чистые глаза остались прежними, доверчиво глядящими на мать, как никто на нее не глядел и глядеть не будет. Этот жалобный и внимательный взгляд ребенка означал его постоянный страх: он словно говорил: мама, живи всегда со мной, не умирай никогда. И мать понимала этот тайный разум сына, светящийся в его глазах.

Сейчас он был рад, что мать была дома и ожидала его. Играя во дворе, в поле или в лесу, Митя боялся, что вдруг мать умрет или сгорит их изба, и он хотел побежать домой, но жук или бабочка привлекали его, он разговаривал с ними и

забывал о матери и о доме, а потом опять вспоминал о них и снова забывал, потому что и мать ему была нужна, и земля вокруг него была светла и полна маленьких добрых людей, бормочущих и зовущих его к себе в траву, в заросли орешника, в лесное озеро и в воздух на небе.

— Мама, дай хлебца, там мышка в поле живет, у ней тоже дети есть, я их крошками накормлю...

— Обожди, Митя, не ходи больше никуда. Отца нету, а я болею, гляди вот — помру без тебя.

— А ты не надо! — просил Митя. — Я только чуть-чуть ходить буду и приду. А ты все равно не помрешь, ты уж сколько раз собиралась. Тебе ведь не больно сейчас, не больно?

— Нет, — говорила мать, — мне не больно. Ну, ступай походи, солнце еще не зашло. Выпей поди молока, дай я тебе сама налью, и хлеба возьми помягче. Дай я тебе сама отрежу его, я вчера новину пекла из просяной муки.

— С коркой! — просил Митя. -- У мышки зубы есть, она корку любит.

Поев хлеба с молоком, Митя взял с собой еще хлебную крошку, где была корка, и ушел из избы.

А мать от слабости прилегла на лавку и задремала. Она думала, что отдохнет немного и потом встанет, пойдет за коровой на лесную поляну и до ночи управится обрядить все дела по хозяйству.

Она дремала, но спать себе не велела, чтобы не заснуть надолго. Почувствовав, что она слабеет, что долгий сон одолевает ее, Марья Васильевна хотела подняться с лавки к своим делам и заботам, но дыхание оставило ее, она протянула руки за помощью, опустилась на пол и умерла.

Митя скоро вернулся. Он пригнал корову с поляны и сказал матери в окно:

— Мама, иди Зорьку встречай, у нее вымя опять полное, она клевер ела.

Он влез в окно и увидел, что мать спит одна на полу.

— Мама! Чего ты спишь? Ночи нету, а ты спишь — ты вставай, мама! Я больше ни с кем не буду играть, я наигрался, я с тобой теперь буду...

На дворе замычала Зорька.

— Вставай, мама, тебя Зорька зовет.

Мать молчала без дыхания, и ее вытянутые большие руки без силы лежали на полу.

— Ты умерла теперь! — увидел Митя и сказал: — Я тоже помру с тобой.

Он прилег к ней, обхватил одну ее холодную руку и приник к ней лицом.

В сумерки приехал отец и привез с собой доктора к матери. Отец осмотрелся, стал перед матерью на колени и поцеловал ее в лоб; потом он поднял сына и приютил его у себя на груди, чтобы он утешился и уснул.

Мать похоронили под старым дубом на опушке леса, и Митя стал жить без матери.

Днем отец редко бывал дома; он уезжал в лес на службу и приезжал к вечеру, а Митя жил один. Чужая старуха приходила каждый день из деревни и справляла работу в хозяйстве, но ее забота была плохая, потому что семейство ей было неродное и отец платил ей за работу деньгами и хлебом.

Митя не знал, как ему жить без матери. Он с утра уходил к лесному дубу, где мать положили в землю, и был там один весь долгий день среди травы и маленьких людей.

Он подружился было с муравьем и рассказал ему, что у него умерла мать.

— Ну что ж, — сказал муравей, — она умерла, а ты живи.

— Без матери нельзя, — сказал Митя муравью.

— Можно, — ответил муравей. — Если бы ты не родился еще, тогда мать тебе нужна. А раз ты родился, мать тебе не нужна.

Митя не понял муравья.

— Ты маленький человек, — сказал он муравью, — ты в землю умеешь ходить по норкам. Ты сходи к моей матери и проведай ее, а потом мне расскажешь про нее.

— Нам глубоко ходить некогда, — сказал муравей. — У нас, ты видишь, какая муравьиная куча! Нам делов много, нам некогда.

А что ты будешь делать?

— Я тлю пойду доить, а потом груз буду в муравейник таскать — солому и лес — нам строиться надо. Нам о тебе думать некогда.

Озабоченный муравей уполз по своим делам, а Митя подошел к белой бабочке: бабочка сидела на синем цветке, трепетала крыльями и вся дрожала, словно ей страшно было жить.

Митя спросил у бабочки: чего она боится?

— Я не боюсь, — сказала бабочка, — это я радуюсь теплому свету, я сейчас полечу.

— Ты полетишь далеко или близко?

— До вечера, а вечером я умру, вечером я старая буду.

— Мама моя тоже умерла, — сказал Митя. — Когда ты умрешь, ты увидишь ее?

— Не знаю, я не умирала, — сказала бабочка.

Митя грустно глядел на бабочку, и в глазах его были две слезы.

— Я увижу ее, — сказала бабочка. — Я скажу ей: пусть она опять живет.

— А утром ты прилети ко мне, я тут буду, и ты опять живи до вечера.

— Нет, я червяку расскажу, как была у твоей матери, а червяк приползет и тебе скажет. А сама я больше не прилечу сюда, мне жить два раза нельзя, завтра другим бабочкам надо жить, утром — другие бабочки будут летать. А я рада, что живу до вечера и вечером умру.

Добрая бабочка встрепенула крыльями, и тихий ветер понес ее вдаль над травами и цветами.

Митя глядел ей вслед, как она улетала от него. И он увидел, как из травы поднялась птица и склевала бабочку на лету. Мальчик тогда лег лицом в землю и заплакал, что добрая бабочка не дожила своей жизни до вечера.

Большой земляной червь подполз к лицу Мити и спросил его:

— Чего ты плачешь? Живи, не плачь!

— Я не плачу, — ответил Митя, — ты слепой, ты ничего не видишь.

— Я не вижу,а чувствую,— произнес червь. — Слеза твоя капнула, а я с землей ее сжевал и узнал, что в земле была слеза.

Митя сказал червю всю правду и отчего он плачет. Червь не шевелился и слушал его...

— У матери последнее дыхание вышло, и она умерла, — говорил Митя. — Я хочу ей от себя дыхание отдать, чтоб она жила, а она в земле глубоко лежит...

Червь молчал и думал.

— Я тоже дышу, — тихо произнес червь, — дыхание для твоей матери я могу от себя отдать.

— А ты отдай! — просил Митя. — Ты пройди к моей маме сквозь землю и отдай ей свое дыхание, пусть она вздохнет и будет жить. А если ты умрешь, тебя мама ко мне принесет, и я тебе отдам тогда свое дыхание, и ты опять станешь живой.

Червь задумался.

— Да я что, я червь, — сказал он, — я могу и без жизни обойтись, это вот тебе нужно обязательно быть на свете.

— А зачем же ты тогда есть? — спросил Митя.

— А затем, что муравьи мне велят почву пахать и рыхлить. Они тут новый муравейник строить будут. А я у них пахарем-крестьянином работаю, затем и живу. Некогда мне в землю глубоко ходить.

— Муравей мне тоже говорил — ему некогда, — сказал Митя. — Одна бабочка была добрая.

— Не обижайся на меня, — произнес червь. — Я обдумал. Ты разорви меня пополам.

— Не хочу. Тебе больно будет.

— Разорви меня, нас тогда двое будет. Один останется землю муравьям пахать, а другой к матери твоей пойдет. Рви меня пополам, мне не больно, я привык.

Митя взял червя в руки и разорвал его; тогда их стало двое; полчервя уползло работать землю для муравьев, а полчервя осталось. Этот пол червя попрощался с Митей и пополз в глубину земли, к матери осиротевшего мальчика. Митя теперь не знал, какой же из двоих полчервей был тот, который говорил с ним.

На другое утро Митя пришел снова на это место и нашел Полчервя. Это был тот, что остался пахать, а того, что ушел в глубокую землю, того не было. Полчервя заглатывал и пере-

жевывал землю, так он мягчил и пахал ее. Он то показывался наружу, то уходил в темноту почвы, но все время ползал вперед и назад и трудился.

Полчервя-пахарь почувствовал, что Митя пришел и дышит возле него.

— А того нету? — спросил Митя.

— Того нету, — ответил Полчервя. — Может, сглодал его кто в земле, может, он сам уморился и помер — дорога ему дальняя.

— А он добрый?

— Не знаю, — сказал Полчервя, — он, как я.

Митя загоревал; он думал, что ему теперь делать и кого нужно послать на помощь матери.

Тогда Полчервя сказал ему:

— Разорви меня еще пополам — пусть нас будет две четверти: одна Четверть пахать останется, а другая Четверть понесет дыхание жизни твоей матери.

Митя обрадовался и сразу разорвал Полчервя еще пополам. Одна Четвертьчервя поползла в глубь земли, а другая Четвертьчервя осталась пахать землю муравьям.

Митя ушел к корове Зорьке на лесную поляну; он пас ее до самого вечера и перегонял, когда нужно, с одного места на другое, чтобы она ела траву, которая слаще и питательней, а не глодала сухие былинки. Он часто подходил к Зорьке, гладил и ласкал ее так же, как ласкала ее прежде мать, и ему было хорошо, словно он чувствовал на шерсти Зорьки живые теплые следы рук своей умершей матери. Зорька, обернувшись, смотрела на него одним большим печальным глазом, как будто хотела сказать что-то или спросить.

Вернувшись вечером домой, Митя лег спать, чтобы скорей прошла ночь, а утром пошел к Четвертьчервю. Один Четвертьчервя пахал муравьиную землю, а другой Четвертьчервя не вернулся обратно.

Теперь Четвертьчервя стал совсем короткий, ему трудно было пахать землю и у него выходило мало работы. За это два муравья ругали Четвертьчервя и обещали сглодать его живьем, если он не сможет работать больше. Четвертьчервя

старался трудиться лучше и больше, но силы в нем теперь мало было, и тело стало короткое.

Когда муравьи ушли, Митя прилег к труженику-червю и подышал на него, чтобы Четвертьчервя узнал его. Четвертьчервя остановился ползти и попросил Митю, чтобы он отер листиком травы пот с его спины. Митя отер Четвертьчервя; пахарь отдохнул и сказал Мите, что нужно делать.

— Разорви меня еще пополам, мы и по одной осьмушке проживем.

Митя сделал, как велел Четвертьчервя; теперь их стало две осьмушки, два маленьких червя, но оба были живые и добрые. Одна Осьмушка пошла в землю к матери Мити, а другая Осьмушка осталась пахать землю. Трудно было маленькой Осьмушке работать, и еще она боялась муравьев, но она была терпелива и усердна в земляной работе, а Митя находился около Осьмушки и время от времени отирал с нее пот травяным листом.

В полдень Митя пошел навестить Зорьку на лесной поляне.

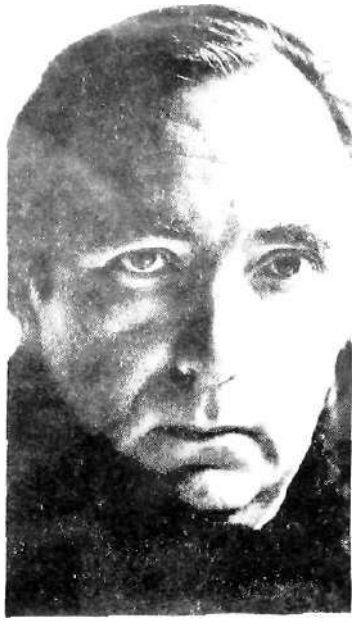
Погладив Зорьку, он повел ее к лесной речке на водопой и там уснул в прохладной тени ивы, росшей на берегу.

Под вечер Митя проснулся; он вспомнил про Осьмушку и побежал проведать ее, как она там, маленькая и слабая, работает одна и не сглодали ли ее муравьи за то, что она мало вспахала земли.

Митя увидел Осьмушку. Она лежала около зеленой былинки, не работала и не двигалась. Митя взял Осьмушку в руку, позвал ее, заговорил с нею, подышал на нее и потрогал ее губами. Осьмушка молчала, она была холодная и уже затвердела; там, где Митя оторвал ее утром от Четвертьчервя, вышла капелька крови, и кровь теперь засохла; Осьмушка умерла. Она истомилась в работе, она не могла жить в маленьком ослабевшем остатке своего тела, и Осьмушка умерла.

Митя унес Осьмушку в хлебное поле, чтобы ее не нашли лесные муравьи, и там закопал ее.

Теперь он стоял один над землей, где лежала мертвая Осьмушка. Ему жалко было ее, и он не знал, есть еще кто-нибудь, кто был бы такой же добрый, как Осьмушка.



В "Пражскую весну" 1968 года ко мне на дачу во Внуково приехала редактор (подвижница русской литературы) одного из московских издательств и отобрала из моих повествований в первом лице единственного числа "книгу рассказов", которая должна была выйти под названием "Стаканчики граненые"... По окончании "Пражской весны", книга была заморожена до будущих "весен".

На Западе эти рассказы печатались в журналах "Время и мы" и в "Континент", а недавно вышли на английском языке отдельной книгой "Проза из несостоявшейся книги 1968 года".

Однако, по счастливой для нас случайности, два рассказа не были до сих пор напечатаны и не вошли в книгу. Предлагаем их вниманию читателей.

Лев Наврозов

Лев НАВРОЗОВ

СТО СОТЫХ

Мы были отличниками, с такими хорошенькими портфельчиками, а еще были хулиганы, они остались давным-давно на второй год, потом на третий, а может быть, даже и на четвертый, потому что было такое указание, чтоб все сто процентов, и они выросли так, что нам казались великанами, и когда великан Михайлов грустно ударял по исполинским ягодицам Полеву, то рука Михайлова представлялась нам медвежьей лапой, и от дрожания ягодиц Полевой все, казалось, дрожит, как от волн, и была в действиях хулиганов безысходная грусть путешественников, попавших в страну малюток, они грустно курили, выпивали, ели исполинские булки целиком, не кренделькн, а целые булки, неразрезанные, без масла, прямо так, живьем. Михайлов, не тот, что Медведь, и не брат его, а просто другой Михайлов, доводил политзачес до красоты швабры из совершенно одинаковых проволок, выходящих из лба, а Кутузова, сотрясая цветастыми серьгами, обсуждала новости половой жизни района с томным Пчельниковым.

И вдруг однажды Кутузова услышала краем уха как малолеткам объясняли: земля шар, и она вертится. Ее возмутила не отвлеченная вздорность этого вымысла, а то, что она непосредственно затрагивала ее, Кутузову. Малолетки могут сюсюкать с какими угодно там тру-лю-лю мадам фря в очках о том, что ути, ути, какая малюсенькая, но нести вздор в ее присутствии о том, что земля, на которой Кутузова танцует румбу, — шар, и ноги у нее, значит, что же разъезжаются? И шар этот, мол, вертится, будто она пьяная, да пьяная, это не дело для малолеток, так можно их подучить говорить, что и ноги у нее кривые.

Совсем всякие там тру-лю-лю мадам фря в очках развоображались, будто они могут знать, что и Кутузова не знает. На миг она забыла про достоинство, уместное по отношению к забавам малолеток, и закричала с визгливым презрением, дескать, чему малолеток подучают?

Тру-лю-лю фря в очках, которую на самом деле звали Надеждой Павловной Введенской, сначала побледнела, потом залилась цвета мокрого кирпича краской, красиво сняла пенсне и надела его опять.

Надежда Павловна преподавала, наверное, с начала века, и у нее было такое лицо, и пенсне, и потом само имя: Надежда Павловна Введенская, что сразу вспоминалось: сейте разумное, доброе, вечное. Но теперь, казалось, ей в лицо вдруг плеснули водой, мысленно она собирала доводы в пользу шарообразности и вращения Земли, но поскольку уже давно многие заранее соглашаются с этими доводами и выслушивают их больше для приличия, то эти доводы были застигнуты врасплох. Кутузова отвернулась с презрительным сожалением, считая, что вопрос исчерпан, но в это мгновение лицо Михайлова, не с политзачесом, а Медведя, обычно сонное, словно он в спячке, вдруг болезненно ожило, разом превратившись в разбереженную рану самолюбия, может быть, оттого, что Кутузова так уронила свое, а заодно и его, достоинство, вмешавшись в младенческую забаву, а может быть, какое-то непонятное волнение вокруг растревожило его, и все ожидали, что он встанет из-за своей парты, он выглядел,

как медведь за партой на картинке в книге для детей дошкольного возраста, и заревет, но он только привстал, загромыхав, мигнул глазами, ощерился и свистнул свистом без пальцев. Свист вышел для этого исполненного достоинства рода свиста очень удачный, но уже на миг раньше, когда он только еще ощеривался для свиста, разбереженная рана его лица затянулась, оно даже выразило некоторое если не удовольствие, то умственное ощущение замысловатости жизни, или проще сказать, смышленость, какая у него появлалась при виде ягодиц Полевой, а затем погрузилось опять в угрюмую спячку.

— Так, — звенела в таких случаях Надежда Павловна расстроенным аккордом, напоминавшим рояль на уроках пения, по которому много лет били кулаками.

Затем она распахивала дверь, чтобы происходящее стало достоянием всеобщей гласности, то есть неясной гулкости пустых пространств коридоров. Мы знали заранее все, что произойдет, но каждый раз Надежда Павловна как бы заново оглашала действия хулиганов.

— У меня, — расстроенно звенела она, с расчетом на гулкие пространства, — у меня, — повторяла она чуть тише, но зато тверже, — у меня, — брала она октавой выше, — сры-ва-ют, — и голос у нее тут тоже срывался, — у-у-рок.

Мы все понимали, хотя процентов еще и не проходили, что сто процентов — это сто сотых, а если Михайлова выгонят, то это не будет сто сотых, и потому Михайлова нельзя выгнать. Не только Михайлова, но даже Косого со второго этажа никак не могут выгнать, потому что сто сотых — это сто сотых.

Мы все отличники, с хорошенькими такими портфельчиками, были тайно на ее стороне, потому что она порядок, а они хулиганы. У меня была фотография, где мы все сняты, а сзади белая изразцовая печка, топили дровами, о нее можно греться, а выше вьюшка, а на стене на уровне вьюшки портрет, ну, известно, чей, кого же еще, и какое это имеет значение? Этот портрет — как вьюшка, а эта вьюшка — как белые изразцы, как сейте разумное, доброе, вечное, как порядок. И позвольте все сто сотых должны знать, что земля

шар, и она вертится, разве это не разумное, доброе, вечное, не дать ни одному хулигану закоснеть в невежестве?

— У меня срывают урок, — повторяет Надежда Павловна, но теперь уже рассудительным до певучести голосом.

— У меня срывают урок, — певуче рассуждает вслух Надежда Павловна, словно сама она не рада тем последствиям, которые от этой певучести произойдут.

Не всегда все точно повторяется. Иногда Надежда Павловна на миг исчезает в гулких пространствах коридора, чтобы лично, так сказать, огласить.

— Ах, у меня вода, принесите обморок, — произносит в таких случаях Кутузова, изображая тру-лю-лю мадам фря, которая устраивает не пойми что из-за того, что Медведь свистнул, подумаешь, барыня на вате, и одновременно изображая себя в представлении барыни на вате, которая думает Кутузова ее испугалась и упадет в обморок. Поскольку остроумие тут очень уж тонкое, основанное на перестановке слов "вода" и "обморок", то ей с Полевой приходится несколько раз повторить эту остроту на разные лады, чтобы соль ее ни в коем случае не пропала бы для мужского общества, и Полева произносит шепеляво, несколько тихо и без всякой художественности, но зато Кутузова закатывает глаза, говоря, что у нее вода, и как бы падает в воду, прося принести обморок.

Иногда Надежда Павловна предварительно заявляет о цели своего выхода в коридор: она идет поставить в известность, и тут Медведь угрюмо хрипит:

— Иди ставь.

Так обнаруживается, что он с ней на ты.

Повторяется все, что и в предыдущем случае, но только вместо слов: мне срывают урок, участвуют слова: меня оскорбляют на уроке, и тут мне становится ее еще больше жаль, да и совестно, что я присутствую при оскорблении ее на у р о к е , и я сжимаюсь внутри до самого маленького размера себя, закрываю глаза и начинаю про себя гудеть от возмущения и думаю, что если бы все так про себя загудели, то получился бы сильный гул возмущения. А однажды мама дала мне три рубля, и я положил их в парту, а потом как бы вдруг

нашел в парте неизвестные три рубля, встал и сказал: Надежда Павловна, я нашел три рубля. Я желал приобщить ее и себя к порядку, достигающему степени подвига.

Хулиганы впервые разглядывали меня как крохотную, но все же отдельную личность, а не просто неопознаваемую икринку паюсного малолетства. Они стали думать, что я мог бы сделать на три рубля, если я не курю, не пью, и вообще лишен человеческих желаний.

— Он бы пончиков купил, — сказал Пчельников томным голосом, намекая Кутузовой и Полевой, что под пончиками тут имеется в виду также и нечто, имеющее отношение к половой жизни, хотя он еще не решил, какое именно.

Потом их взяла досада, что я не отдал три рубля им, но ругать меня казалось им так же нелепо, как мне бы ругать новорожденного. После занятий они окружили меня за партой хмурой толпой исполинов и, конечно, это внимание было все равно как если бы знаменитые на весь мир преступники вдруг собрались бы вокруг спасшего поезд сторожа на безвестном полустанке. Хмуро они обменивались замечаниями о детскости моего поступка.

— Дурак, — сказал Михайлов с политзачесом. — Я видел, как она на эти три рубля себе пончиков купила.

Было неясно, видел ли он это, и было неясно, зачем вдруг Надежде Павловне понадобилось столько пончиков сразу, и почему именно те три рубля видел у нее Михайлов, но он, наверно, решил, что так должно быть, исходя из природы вещей. Нижняя часть лица у него напоминала Вольтера или Шопенгауэра в том смысле, что если бы он дожил до возраста, когда эти лица запечатлены в известных изображениях, он, наверно, стал бы этой частью лица очень на них похож, но пока что эта нижняя часть лица придавала ему неуверенность, когда он старался рассеять мой детский предрассудок и показать мне подлинные пружины жизни, хотя проволока политзачеса и торчала надменно у него изо лба.

Но все это лишь присказка, а цель ее показать, насколько были безобидные н а ш и хулиганы. Однако за ними, где-то на втором этаже, маячил Косой, видение детского кошмара,

чудище, я даже не знаю, косили ли у него глаза, потому что нельзя рассмотреть чудище, и только очевидно было, что голова у него не просто с пивной котел, как казалось нам в силу разницы возрастов, но еще и как бы двухэтажная, и на втором этаже, как пыльные окна, совершенно тусклые, словно невидящие, глаза. Но, конечно, многое тут мерещилось от страха. Я встретился с ним один раз, он был на площадке второго этажа, и похоже было, что он как оборотень примеривается, чтобы схватиться руками за перила и съехать на руках, как опрокинутое кверху ногами огородное пугало.

Косой схватился руками за перила и подпрыгнул, как бы для того, чтобы съехать на руках, а на самом деле для того, чтобы плюнуть в меня, выбросив пивной котел головы вперед через перила для придания плевку скорости.

Плевок попал в шею, он был как печать дьявола или язва, я стоял, скорчив шею, словно укушенный ядовитой змеей и стремящийся предотвратить распространение смертельного яда по шейным венам с помощью страшного напряжения шейных мышц.

А был год тысяча девятьсот тридцать седьмой. И можно было ожидать, что проходящие мимо сеятели и сеятельницы разумного, доброго, вечного скажут, подумаешь, плюнули в него. Ведь это м н е так казалось, что печать или язва или смертельный укус, а почему бы им не сказать брезгливо, дескать, есть у тебя платок, или, там, иди в уборную, ведь и на первом и на втором этаже была уборная и рукомойник, чего же проще? Так нет же, она, не помню ее лица или одежды, ничего не помню, ужаснулась — ну, может быть, не в такой степени, как я, но достаточно, чтобы я поверил, что и она охвачена ужасом, и весь мир охвачен ужасом, и порядок встал на место, разумное, доброе, вечное, и она меня взяла за руку и повела в учительскую, где был кран, и главное было идти, не расслабляя шейных мышц, и не запомнил я ее потому, что несчастье мое казалось мне столь чудовищным, что тут все человечество, все разумное, доброе, вечное должно было спасать меня. Разумное, доброе, вечное, у него нет лица, оно так прекрасно, что его нет, оно просто как шелест слова "челове-

чество", оно неясно, безлично, почти неслышно, как смех или речь в таком далеке, что о них можно лишь догадаться, и на каком это все языке и сказать нельзя.

А второй раз я встретил Косого лет через тридцать.

На мне была шуба с котиковым воротником полушалью, недавно купленная в комиссионном магазине потому, что в старой шубе меня могли встретить значительные лица и вышла бы неловкость.

Время было второй час ночи, а парадное во втором часу ночи — это царство мертвых, этот лифт, стержень моей жизни, потому что всю жизнь я прожил вокруг этого лифта и знаю сетку, грязь, краску, клепки, он как гробница во втором часу ночи, и тишина такая, что кажется лампочка наверху горит с шипением, а времени нет.

Справа у гробницы лифта стоял о н.

Привидение было куда хуже, чем образ детского страха. Каким кокаином можно довести свое лицо до такой мертвецкой белизны, до таких невидящих глаз? В каких тюрьмах, в каких ямах провел он эти тридцать лет?

Но я знал, что он — это он, подобно тому как во сне з н а ю т, что он — это он, хотя облик может быть безвиден.

Потом я сообразил, что у нас дом проходной и можно войти в парадное, затем вокруг лифта, в дверь внизу и проходным двором, и он наверно шел ночью навестить свой прежний дом поблизости, днем его бы задержали и выслали из Москвы, а не видел я его эти тридцать лет, потому что может быть, он и в Москву сумел вернуться в первый раз. Но это все я потом сообразил, а тогда я мог думать, что он выследил меня.

Разве я не был и эти тридцать лет на стороне порядка? В его глазах, да. Правда, очень скоро я понял, что в отношении шарообразности и вращения земли танцовавшая румбу Кутузова была так же права, как и сеятели разумного, доброго, вечного. Еще подростком я прочел, что все шар и ничто не шар, все зависит от радиуса кривизны, а если у вселенной есть радиус, то можно сказать, что земля неподвижна, а вселенная вращается вокруг нее, и если б Кутузова стала потом не районной проституткой, а писала бы диссертацию о кривизне пространства, то она бы кричала об этом, возможно, так же визгливо, как она кричала, что земля — не шар.

И я также узнал, что до того как наши хулиганы сры-ы-ывали урок, а Косой поразил меня смертельным ядом своей слюны, всех несоответствующих порядку столицы выселили, а лиц двенадцати лет и старше квалифицировали как совершеннолетних, применяя к ним все меры наказаний, вплоть до высшей. И было это запечатлено не в секретных шифровках, а во всеми читаемых газетах. Все прочли и как бы не поняли или как бы не осознали или как бы забыли. Никто мне никогда об этом не рассказал, пока я сам не проник обратным числом в историю и сам не открыл. Земля-то, а все-таки она вертится и не вертится. Шар она, и не шар. Уж какой казался порядок, сто сотых, но только хулиганы-то наши или сам Косой были, так сказать, лишь остатки. Указание было всех несоответствующих порядку с глаз долой, а уж тех, кто останется, вот те, чтоб и были сто сотых. Так что и сто сотых оказались не сто сотых.

Но для Косого, что ж все это значило? На мне была шуба с котиковым воротником полушалью, значит, далеко я пошел, высоко залетел. Вот, мог бы сказать мне Косой, ты был отличником, с хорошеньким таким портфельчиком, и верил, что земля — шар, и она вертится, и никогда не спрашивал, а правда ли, что сто сотых это сто сотых, и даже свои же три рубля отдал на приобщение к порядку, доходящему до степени подвига, и вот ты в какой шубе. А вот что порядок сделал со мной, видишь? Я — выползший во втором часу ночи труп, я — призрак страшнее детского твоего кошмара, я — нетопырь оттуда, где за твою шубу с котиковым воротником полушалью, знаешь? Помнишь плевок мой? Так оно и есть: смертельный это был укус, и вот яд сейчас тебя и убьет. Я — сто сотых, я — возмездие, я — смерть, мы ведь в царстве мертвых, где времени нет, а всегда второй час ночи.

Когда он заговорил, понять ничего было нельзя. Он потянулся, как во сне к моей руке, и я не отшатнулся, но, видимо, побелел как полотно, потому что он сказал то, что я тогда не понял:

— Ч-ооо-ты-я-е-хотя-токо-рук-тя-по-се-лать.

Но потом я разобрал, как разбирают малознакомый язык: Что ты, я же хотел только руку у тебя поцеловать.

И он, видимо, еще хотел сказать: ведь я же люблю тебя.

Это я понял. Но он оговорился, или, может быть, в его сознании уже не различались слова тебя и себя, и вместо тебя он сказал себя:

— Ведь я же люблю себя.

СЛАДКИЕ ДНИ

Петя смотрелся в наше зеркало. Из Петиных слов выходило, что я урод. Он, правда, сказал не урод, а урода, вроде, значит, смешно: урода. Даже лицо такое в зеркале вытянул.

— То есть, как это? — сказал я, притворяясь, что не чувствую, как жизнь вытекает из меня, хотя я даже подумал: словно кровь из смертельной раны.

Я теперь понимаю, что Петя так сказал потому, что он сам был мною смертельно ранен.

Нашей мечтой было содеять немыслимое преступление, и хотя мы знали, что подобные преступления совершаются, но ведь и сейфы где-то кем-то все время взламываются, притом сейф взломать можно с помощью автогена, или даже, я читал, нитроглицерин залили в щель и рванули, а тут объект преступления — живое существо, которое в преступлении соучаствует. Сейф — он сам же и преступник, вернее преступница. Нельзя просто сейф взломать. Надо с сейфом войти в тайный преступный сговор, причем без малейшего намека, какой там намек, надо, наоборот, такое выдумать, что как будто и в мыслях нет ничего такого, а все мысли наоборот. От соучастника, вернее, соучастницы, и надо все скрывать, как будто она в то же время и следователь по делу, а также этого самого сейфа и владелица.

Я Пете и рассказал, что подготовка к немыслимому преступлению у меня идет успешно, на мази дело, и даже я руки потираю, и теперь-то я знаю, что Пете я тем самым нанес

смертельную рану, жизнь из него самого вытекала, и поэтому он и сказал, что я — урода, но я-то думал лишь о себе, о том, что жизнь из меня вытекает.

Для того чтобы содеять немыслимое преступление, нельзя к тому же еще и быть уродом, и тут Петя смертельную рану мне и нанес.

— То есть, как это? — говорю я, понимая, что все пропало, и только время оттягивая.

— Но ты ведь не очень красивый, правда? — говорит Петя, взывая к чувству справедливости и давая понять, что урода можно назвать, из дружеского участия, просто не очень красивым, но суть дела от этого не изменится.

Да, Петя, наверно, красивый. Нос прямой такой. Греческий. А ведь у Пети мать тоже еврейка, и только отец русский. Как и у меня. Но никто не скажет. Ну, скажут, не русский, так грек.

Хотя не знаю, хотел бы я такой нос, если б можно было меняться. Немного он у него как бы это сказать — мозолистый, что ли.

Но Петя прав: я урод, и не только внешне, а внутренне тоже.

Зачем я затеял это немыслимое преступление, к тому же еще и неосуществимое? Если бы я не был уродом, а был бы красавец, как дядя Валентин, то я бы его и не затеял. Папа говорил про дядю Валентина: "прямо из "Белой гвардии", так назывались раньше "Дни Турбиных". Дядя Валентин когда пил, то все больше бледнел и становился все красивей, как бы сгорал в спирту, возгонялся, ведь спирт значит дух по-латыни, и в конце концов лицо его как бы из одного духа состояло, из одной красоты.

Я был бы красавец, и все было бы красотой, и как дядя Валентин читал бы стихи: испугом схвачена, влекома в водоворот, или: чтоб на ложе долгой ночи не хватило страстных сил, а ложе мрамор, пожелтевший, каррарский, даже римские буквы, хотя это гробница, кажется, Медичи.

А можно все и перевернуть. Мраморное ложе, гробница Медичи, красота — это все в прошлом. А теперь и в дяде Вален-

тине была вся красота только когда он пил. Оттого и я не как дядя Валентин, а урод.

И уродство я затеял. Уроду уродство. Преступнику преступление, но только уроду его и в жизнь не содеять, потому что тут хотя бы Петин греческий нос нужен.

Для немыслимого преступления, видите ли, еще и красота требуется. А почему? В школе мы проходили, что красота нужна цветам, чтобы пчелы замечали их яркую расцветку в траве, борьба за существование, выживание наиболее приспособленных. А тут что? Разве красивый или красивая наиболее приспособлены? Дядя Валентин, красавец? Да он сгинул, папа говорил его гувернеры пяти языкам учили, и все напрасно, он в красоте-спирту возогнался, как дух, источился, сгинул.

А вот, поди ж ты, красота тут нужна. И никто не знает почему, а как будто в ней тут все дело, и сколько тайного горя, оттого что ее нет, помешательство на ней, болезнь, наваждение.

Объект преступления не так легко было выбрать. Соседка в квартире у Пети, это не под нами, а в семнадцатой, еще этажом ниже, никак, я решил, не подходит. Начать с того, что ей лет тридцать, а может, и больше, и хотя ручки, ушки и носик у нее маленькие, особенно носик, чудесный маленький носик, такой красивый, что я решил, что он непременно польский, плечи у нее, груди, бедра, живот необъятны по сравнению со мной, и потом она замужем за офицером, впрочем, не намного крупнее, чем я, и у нее еще дочка семи лет Наташа.

Мне нравится, что она такая тонкая запястьями и носиком польским, а в остальном такая необъятная, я даже хорошо представляю ее живот, у нас напротив на доме верхний край крыши как бы поддерживают сказочные существа, лица у них зверюшек, а животы чудесные, и пупки растянуты в стороны, как будто в такой улыбке, что уж дальше улыбаться никак невозможно.

Семнадцатая — это другой мир. У них пол в коридоре кафельный. Входишь: пол кафельный. Дико. Вот, думаешь, пол у них кафельный, а они живут. Скользишь по кафелю:

Петя дома? А справа мне отвечает голос будто в двух регистрах, как восточное пение, и на верхнем регистре свирель, и будто струей молока брызнули и даже захлебываешься. Петя мне хвалился, что она по квартире в одной батистовой рубашке ходит. Все видно, говорит Петя. Но я ничего. Как голая, сказал он немного обиженно, и описал в доказательство подробно, а мне наплевать, у нее голос в верхнем регистре грудной, а в нижнем утробный, а что он снаружи увидел, подумаешь. И откуда у нее голос такой берется? Впрочем, голос ведь это нутро, это ведь как резонатор музыкального инструмента, слыша его, мы обладаем душой изнутри, как может быть в раю.

А Петя слева живет. Надо по кафелю скользить — скользить (все чужое!) в закоулок слева, и потом дверь будет с таким стеклом в рубчик, и стол у них всегда накрыт клеенкой, а на клеенке всегда крошки. Б-р-р! Холодно у них. А главное другой запах. Меня только ее голос ободряет. Как путника на чужбине. "Лева, да что же вы стоите? Петя дома!" — льет она на меня свою свирельную благодать среди дикого этого кафеля. У Пети нос греческий, и как он шутит про себя: "Ну уж, девки, если я вам не парень, то вы заелись!", но если посмотреть на Петю в этой его дикой семнадцатой, то все становится и в Пете дико. Петя играет на скрипке и украл у нас три рубля. Мама у него страшная. Глаза у нее в темных кругах, придет она с работы, сядет за стол с клеенкой и крошками, и сидит, смотрит в одну точку, а голова чуть-чуть набок. Потом встрепенется и крикнет немного гнусаво: "Петя, играл сегодня на скрипке?" Хотя Петин папа русский, он тоже страшный. Он себе отдельно все готовит, потому что поссорился с ними, но из супа у них всю гущу вылавливает и съедает.

"Лева, да что же вы стоите? Петя дома!" Она говорит или смеется? Журчит у нее смех внутри, хлещет, как молоко из перевернутой бутылки, и бутылка бьется толчками.

А Петя еще раньше рассказал мне, как она прожурчала грудным своим смехом-молоком: "Петя, а что же Лева к вам не приходит, милый какой мальчик?" Не только не урод, а

еще и милый. Это ей так привиделось. Но не все ли равно? Для махрового-то преступника?

А вот тут-то и заковыка. Мои замыслы немыслимого преступления обязательно связывались с катанием на лодке, потому что объект преступления ведь надо завлечь в отдаленную безлюдную местность, а дальше катания на лодке у меня воображение не шло, таков был в моих замыслах повторяющийся рисунок преступления, как сказал бы криминалист.

Но как я могу пригласить ее кататься на лодке? А тонкошеий муж и дочка семи лет Наташа?

Если бы можно было пригласить ее голос. Красавцем, дядей Валентином, я бы его ловко подхватил и усадил в лодку, а он бы сладко и туго бил, как молоко из перевернутой бутылки, растекался бы свирелью, тыкал бы пальчиком смеха опущенным за борт, и мы бы плыли по озеру свирельного молока, мы бы тонули в свирельной благодати, ты, царевич, мой спаситель.

Но голос я не могу пригласить, я должен ее пригласить как личность, вместе с батистовой рубашкой, вместе с настоящими женскими ногами, женскими чулками, которые, как воздушные сооружения, совсем прозрачные и с разными сложными приспособлениями, с помощью которых эти сооружения держатся, вместе с мужем ее офицером и дочкой семи лет Наташей.

Объект немыслимого преступления неподходящий, и вдруг само все устроилось, свилось из ничего, и без Пети, а просто так, из ничего, все всегда происходит из ничего, стоим мы, то есть такой худой, длинный, и все время обиженный как бы на то, что он так вымахал в ботву, потом Лариса, нелепое имя, из "Бесприданницы", они что ли, дружат, чуть ли не уроки вместе учат, хотя мне-то какое дело, а вот у этой бесприданницы Ларисы подружка, и я говорю им: а давайте поедем кататься на лодке. Каково, а? Я эту подружку и в глаза никогда раньше не видел, а приглашаю их кататься на лодке просто потому, что Петину соседку оказалось катать на лодке невозможно в силу ряда житейских обстоятельств.

Это я Пете и рассказал, не замечая, как Петю это смертельно ранило, а Петя, мол, что я урода, и ничего поэтому не выйдет, но, конечно, я поехал потому, что урод, не урод, а ехать-то она согласилась, и, может быть, я урод, а ей кажется нет, ведь вот Петина соседка говорит: а что же Лева к вам не приходит, милый какой мальчик?

Я назову объект моего преступления его настоящим именем, и тут ясно, что я не писатель, не могу придумать воображаемое имя, даже если всю жизнь буду только этим и заниматься. Не могу и не могу, все рассыпается, писать противно, да и смешно.

И еще опасность. Я пишу это, прихлебывая чай с лимоном, и тут я могу придать всему этому писательскую сладость, и как мужчине за сорок или за пятьдесят не описать девушку-подростка с этакой старческой сладостью, к которой примешивается и сладость отцовства, особенно оттого, что у меня нет дочери, а сладость чая с лимоном?

А на самом деле я просто н а м е т и л Тосю с преступной деловитостью, и то, что ее звали Тося не имело для меня никакого значения. Прекрасное имя Тося. Полное имя Таисия? Некрасиво, вычурно, нелепо. Тася — отвратительно. А Тося — подходит, лучше не надо. Тоня избито, с налетом мещанства, а Тося — прекрасно, это как бы уменьшительное от Тоска, Тоскана, а может быть, и от тоска, и на конце оно становится от "ся" совсем глупо мягким, разбухшим, разлезающимся на нежные волокна, как переваренный стебельчатый овощ, но "то" в начале имени держится стрелкой. Тоской, Тосканой, тоской. И все это я пишу, и сладость струится из чая с лимоном, и слезы отцовства и старчества выступают у меня на глазах, но к тому, что было, все это не имеет отношения, это мой теперешний дух витает около тебя, Тося, Тоска, Тоскана, тоска, и стонет, как сизый голубочек и тщится обессмертить тебя, освятив твое имя, потому что, обессмертив тебя, мне удастся обессмертить и себя, написав твое святое имя хотя бы на моей надгробной плите, обмануть смерть, в вечность пролезть на твоем имени, из чая с лимоном создать загробную жизнь. Но только ничего этого не было. Я видел лишь объект преступления. Одежда: платьице цвета небеле-

ного холста. Гм. Однако премиленькое. Впрочем, неважно. Особые приметы: глаза довольно широко расставлены, причем кругом глаз кажется словно подведено, чтобы глаза казались большими, а на самом деле это так бывает, смуглость такая, она идет к имени: Тося. Заключение: это признак либо порочности, либо безрассудства, что в данном случае весьма важно.

Преступление было продумано мной до последней мелочи. Этого обиженного и его бесприданницу я отсылаю рвать цветы, а мы с Тосей садимся в лодку. Я на весла. Потом я предлагаю грести вместе, я одним веслом, она другим. Тут я должен был остановиться, потому что меня охватывало знакомое начинающим преступникам волнение — враг преступления. Спокойно: я одним веслом, она другим. Затем я предлагаю с этакой беззаботностью следующее: для того, чтобы мне удобнее было грести, я обвиваю ее стан рукой, или выражаясь проще, обнимаю ее за талию. Поскольку я уж не до конца урод, человеческое во мне все же где-то на дне осталось, то тут должен быть водоворот, испугом схвачена, влекома в водоворот. Долгой ночи на гробнице Медичи в лодке, конечно, быть не может, но ведь и я не красавец, как дядя Валентин. Тут ведь не красота, а преступление, творимое среди бела дня с помощью подручных средств. Весь расчет останавливался на стане или талии. Дальше рассчитывать представлялось мне так же бессмысленно, как взломщику рассчитывать, на что он будет потом тратить деньги из сейфа. Замысел и состоял в том, чтобы обвить стан или обнять за талию, а дальнейшее являлось лишь самим собой разумеющимся следствием водоворота.

Поезд несет нас — меня, жертву и двух ничего не подозревающих пешек в моей игре. Я как-то забыл про Петино открытие, что я урод. Я смотрю в Тосю как в зеркало, в ее широко расставленные глаза, и зеркало не содрогается и не мутнеет, зеркало принимает меня в свое лоно. А все смотрят на нас и думают: вот четыре товарища едут за город. Наверно, они вместе учат уроки. Все смотрят на меня и думают, какое здоровое, возбужденное и даже приятное лицо у этого юноши-

подростка (я вижу свое лицо в стекле дверей). Тем хуже для них. Не буду же я сам кричать: вы не знаете, кто я.

Если б я был писателем, то теперь я бы обессмертил бессолнечный теплый день, серо-сливочное озеро, осоку, о которую Тося порезала ногу. Тянет сладостью из чая с лимоном, хочется мне сказать себе, пятнадцатилетнему: смотри же на Тосю, на розовый след осоки на ее ноге, чуть вспухший от брызг, на озеро. Боже ты мой, больше никогда этого не увидишь.

На самом деле у меня было состояние внутреннее и, предположительно, внешнее, взломщика сейфа, которому приходится весь день любоваться вместе с владельцем сейфа видами из окон его дома. Обиженный все время обижался и со своей бесприданницей не отставал от нас, и мой замысел разбивался об его обиженность, которую я не учел в своем бесчеловечном расчете.

Мы гоняли по озеру, высаживались, кружили, и вообще выполняли бесчисленное количество действий, каждое из которых писатель бы обессмертил, но которые тогда восхищали меня не больше, чем взломщика безуспешные попытки добраться до сейфа. К этому времени я осатанел и намекнул обиженному с его бесприданницей, что четырех товарищей мы успеем изобразить по дороге домой в поезде, а сейчас или мы в лодке, а они — цветы, или наоборот. Лодка оседает, когда четверо, сказал я с наглостью отчаяния, и он совсем обиделся, но мне было не до его обиженности. Потянуло вечером. Только сейчас. Последняя возможность. Надо решаться. Дух укрепи мой слабый.

Я на веслах влеку жертву в лодке в пустынную и безлюдную часть озера, затем жертва садится по моему замыслу рядом и берет весло. Замечает ли она, что моя улыбка не больше похожа на улыбку, чем если бы я пальцами растянул рот в разные стороны?

В ходе нашего тщетного общения между взломщиком и сейфом, мое сознание зарегистрировало, что Тося прочла в основном одну книгу "Петербургские трущобы", и она меня переспрашивала, читал ли я "Петербургские трущобы", пока

бесприданница Лариса не сказала: "Ты, Тоська, дура. Отстань ты от него со своими "Петербургскими трущобами". Он читал, чего ты и в глаза не видала".

Теперь мне кажется, что я всю жизнь читаю, чтобы не поглупеть окончательно, и если бы я вобрал в себя все книги и все знаки, созданные человечеством, то где же мне тягаться с твоим умом, Тося, если он, как озеро, как небо, как осока, и твое чтение "Петербургских трущоб" наполняет меня теперь трепетом как часть твоей безмятежной мудрости, замысла вселенной, провидения, которого мне не понять.

Тося видит меня насквозь, но это никак не отражается у нее на лице, потому что она умна, как это серо-сливочное озеро, как это бесконечное небо, как эта осока, о которую Тося порезала ногу. Она не только соучастник, а и тайный главарь, но она так умна, что лишь следит за мной безмятежно, как за младенцем.

Я поднимаю руку, чтобы обвить ее стан, или выражаясь проще, обнять ее за талию.

Во всякой чересчур совершенной разработке преступления есть нечто непредвиденное. Непредвиденным тут было то, что стана или талии у Тоси не было. У девушки-подростка, которой только б у д е т шестнадцать, нижние ребра, талия и бедро — как одна стиральная доска, и рука моя не утонула сладостно, вызывая водоворот, а нелепо держалась на этой доске, причем с таким же успехом можно было сказать, что стан или талия ниже или выше.

Теперь моя улыбка не была больше как растянутый пальцами рот — я думаю, в ней появилось нечто человеческое, а именно, страдальческое.

Я произнес свой заранее и тщательно разработанный текст: так грести удобнее.

— Ну вот еще, — сказала она.

А что бы еще сказала Сафо или премудрая матерь София? Что бы еще сказало озеро, небо и осока?

В общей сложности моя рука пролежала на доске секунд, видимо, пять по часам. Я все еще улыбался. Я понял страшный смысл того, что произошло, но все еще улыбался.

Мы идем на поезд. Разве мой это рот пересох? Ведь внутри я пустой. Я не урод. Я пустая его оболочка. Вроде жука много лет назад забытого в пыльной папиросной коробке, и оболочка головы еще держится, а щеки у меня под глазами уже проваливаются внутрь.

Мы встали недалеко от двери тамбура, стекло было выбито, а в противоположную дверь лезли граждане, пахло деревней и тем, что гадалки называют дальней дорогой, Тося в сумраке словно спала, как куколка, у которой не закрылись глаза потому, что она не лежит, или, как младенец, который глаза еще не научился закрывать, и спать так было совсем нетрудно, потому что со всех сторон нас подпирали граждане. Меня, то есть пустую оболочку урода, они силой придвинули к ней, в окне выбитом закат был буйный, огонь вполнеба, а выше — лебеди из розового огня, мы летели в огонь, дальняя дорога, лебеди выгибались, источались от круглости, гражданин, а вернее, горожанин, теснил иногороднюю с мешком, а иногородний мешок теснил меня, и тыльная сторона моей руки, косточки, на которых считают, сколько в месяце дней, теснили Тосю, обретая ощущения младенца, увидевшего жизнь. В сумрак тамбура лезьте граждане, горожанка с букетом, тесните иногороднюю с мешком, а мешок, неведомо для себя, давай нам еще одну жизнь, и поезд, поворачивай, чтоб мы падали в огонь, а сейф невзломанный, спи в сумерках с открытыми глазами, но смугло гори от огня вполнеба, а под огнем, может быть, артерии, как живые корни, тайный перламутр сгиба ног, уединенный, как лес, как спящий с открытыми глазами мох среди лесных корней, огненно черный, нежный и упругий родник увидевшего жизнь младенца.

Дмитрий ШЛЯПЕНТОХ

ВОСКРЕШЕНИЕ

Какая отвратительная бывает в средней полосе, — в Москве, например,— осень; вовсе нет никакого там "очей очарования" и "пышного увядания". К тому же, увядание редко бывает" "пышным", как и старость, а чаще всего слюнявым, дурно пахнущим и неухоженным. И вот сейчас так все и происходит: серые, неопрятные облака ветер гонит клочками бумаги по небу, бутсы мои, дешевое, рифленое дерьмо, хлюпают по жиже, стекающей вдоль тротуара и никакого просвета вдали: все задернуто, закупорено серой мглой.

Ветер бьет мне в лицо. И нет выхода. И это хорошо. Потому что, когда нет выхода и все кажется абсолютно бессмысленным, тогда и постигается тайный смысл и гармония мира. И сердце начинает чувствовать истину. И обретать надежду. Вы знаете, что за вином жизни, за сизыми, запотевшими гроздями винограда с неизбежностью последует трезвость, осень, прозрачная вода ручья и желтый лист, чуть согнутый, как ладонь мертвеца, плывущий над красными камнями и мертвыми бурыми водорослями.

Но, поверьте мне, у вас есть надежда, и основана она вовсе не на чувстве, не на тертуллиановой вере абсурда, а на прочном научном основании. Вы не знаете об этом? Это уже утешительно.

Истины, которые известны всем,— суть истины биржи, однодневки, живущие от зари до заката. Эти микроистины рождаются на тучных пажитях преуспеяния и успеха. Настоящая истина может появиться только среди паутины, грязи, объедков и окурков, валяющихся на полу, нищеты и полной безнадежности — и это последнее условие — самое главное. Великий выход может найти лишь тот, у кого нет никаких частных, локальных выходов.

Я стою перед замовским кабинетом и готовлюсь улыбнуться. Все те, кто живут в Америке, знают, как это важно, уметь улыбаться. Улыбка должна быть честной, открытой и доброжелательной, даже тогда, когда ты перерезаешь глотку или тебе ее собираются перерезать.

В Израиле и России не улыбаются, во всяком случае, не так часто, как в Америке. Но иногда и здесь улыбка бывает полезна.

И вот сейчас я стою перед дверями замдиректорского кабинета, и психологически готовлюсь к улыбке: она должна быть просительной и жалкой, какой и следует быть улыбке нашкодившего, знающего о своей порочности раба, идущего за милостью к господину. Я мну в нерешительности шапку и готовлюсь улыбаться и канючить, ибо мне до зарезу нужен микроотпуск за свой счет для участия в Циолковских чтениях, происходящих каждую осень в Калуге. Я скажу зам директору, что отправляюсь в Калугу не как праздный слушатель, а как полноправный участник — доклад мой принят и утвержден. В нем все будет как положено: немножко о космической бездне и ее восприятии в европейской культуре и немного о воскрешении по системе Федорова. А если зам поинтересуется Федоровым, то расскажу я ему следующее.

Николай Федорович Федоров, один из наиболее оригинальных мыслителей конца прошлого века, прожил жизнь не богатую внешними событиями. Почти вся она прошла в

стенах библиотеки Румянцевского музея, одного из богатейших книжных собраний России. Основной труд Федорова "Философия общего дела", выпущенный после смерти философа его учениками, представляет собой грандиозный план воскрешения угасших поколений, обретения людьми бессмертия и расселения их по безбрежным пространствам космоса.

Смысл пришествия Христа Федоров видел только в том, что он показал возможность воскрешения. Но самим воскрешением должны заняться люди. Поскольку им в одиночку не по силам решить эту грандиозную задачу, вся суть истории после явления Христа сводилась к выбору силы, способной объединить человечество — "сынов", по терминологии Федорова, для исполнения заветов Христа. Процесс исторической эволюции показал, что православие наиболее пригодно для этой цели.

После объединения мира, или, даже уже в процессе этого объединения, человечество должно приступить непосредственно к воскрешению. Руководить им будут многочисленные музеи и библиотеки, действия которых координируются центральным музеем-библиотекой.

При этом объектом приложения сил ученых станут кладбища. Земля как таковая, по мысли философа, представляет собой не что иное, как напластование умерших тел. вскрывая земные пласты, ученые должны извлекать для последующей реконструкции остатки ушедших поколений, находить мельчайшие частички угасших предков, рассеянных по всей планете и даже космическому пространству.

Выслушав все это, зам, правда, может поинтересоваться, какое все это имеет отношение к Городскому экскурсионному бюро и почему, собственно, он должен давать мне этот микроотпуск. И тогда-то — при этом я опять улыбнусь рабски и заискивающе — я скажу ему, что Федоров полагал, что воскрешение начнется отсюда, из Московского Кремля и Ленинской библиотеки, тогда она называлась Румянцевским музеем. Нет, конечно, не скажу. Это явно идеологическая ересь, ибо воскрешение нигде официально не одобрено и не

утверждено, да и слишком уж экстравагантно все это. У меня и так репутация халтурщика и оригинала. Ни те, ни другие в Кремле не нужны. Там нужны граждане трудолюбивые и стандартные, такие, как подстриженная травка. Воскрешения нам тоже никакого не нужно. Мы и так бессмертны и остаемся жить в своих трудах и величии нашей социалистической родины.

Нет, не скажу я ни про какое воскрешение, а скажу только про освоение космического пространства и торжество человеческого разума. Торжество разума — это определенный оптимизм, притом идеологически безукоризненный.

Я открываю дверь и смотрю на краешек замдиректорского стола: "Простите, простите ради бога за беспокойство... Мне нужен отпуск на несколько дней... Я выступаю на Циолковских чтениях..." — "Отпуск... на несколько дней... — зам повторяет мои слова, не подымая головы от какой-то бумажки, — пожалуйста. Только предупреди, чтобы путевки тебе на эти дни не выписывали."

Да, я забыл, что сейчас осень, слякоть и непогода — сезон кончился и работы нет, поэтому и зам такой покладистый.

А в Калуге все изменилось. Облака разметались по сторонам, а затем и вовсе исчезли — словно щеткой смахнули их с неба, как паутину. Солнце — желтый холодный пятачок на синем небе. Дома — николаевский ампир с дорическими колоннами — тоже желтые и холодные, желтый лист на черном тротуаре. Ветки деревьев — литой чугун с двумя случайно прилипшими охристыми листочками.

Заседание секции по изучению философского наследия Циолковского проходит в Доме политического просвещения, недалеко калужский обком и КГБ.

Зал вовсе не готовили специально к заседанию, даже, по-моему, и не убрали, как следует. Только сняли с доски плакаты, видимо, приготовленные для политзанятий; один из них полуразвернутый валяется в углу. На нем четко указан путь мировой истории: первобытно-общинный строй переходит в рабовладельческий, рабовладельческий — в феодальный, феодальный — в буржуазный, а тот стремится к коммунизму. А после коммунизма нет ничего.

"Скажите, пожалуйста, — маленькая, щупленькая с мраными прожилочками в собранных пучком волосах женщина, чуть привстав, обращается к очередному докладчику,— вы говорили о возможности вечного существования человечества. Это понятно /она произносит эти слова буднично и просто, как само собой разумеющуюся истину/. Но как вот насчет индивидуального бессмертия?" Оратор — плотненькая, сбитая фигура; белая прядь падает на огромную шишку на лбу /она глазом циклопа упирается в противоположную стену/ — на секунду задумывается и говорит твердо и внятно: "Я думаю, что индивидуальное бессмертие возможно."

Щупленькая женщина садится, вполне удовлетворенная, и никто не требует у докладчика, чтобы он уточнил, каким образом он собирается добывать бессмертие для себя, слушательницы и всех сидящих в зале.

"Смерть должна, как учит нас Федоров, отступить, и она отступит. Ушедшие от нас поколения будут воскрешены", — энергично встряхивает головой очередная докладчица.

"Товарищи! Я лично думаю, что воскрешение является очень важной народнохозяйственной проблемой, — со стула подымается личность с прилизанными набок волосиками — явно какой-то партработник среднего звена. — Товарищи! Это всем понятно. У нас ведь, как известно, нехватка кадров, рабочей силы. Рождаемость падает. Так вот я думаю, что воскрешением нам нужно будет заняться вплотную, да и не откладывать дело в долгий ящик."

На трибуну греческим рапсодом выплывает слепой, его под руки бережно поддерживают два парня, наверное, ученики. "Завеса смерти должна пасть," — рапсод начинает свое выступление густым, сочным басом. Он докладывает, вернее, читает речитативом что-то очень путаное и длинное. После почти часового стояния на кафедре его вежливо, но настойчиво спроваживает обратно в зал председательствующий.

Потом начитаются прения. Появляются ревизионисты, которые указывают на возможность бессмертного существования уже живущих, но отрицают возможность воскрешения умерших.

Иные — уже совершеннейшие отступники. Одним из таких отступников оказался щуплый старикан, представившийся доктором биологических наук. Старичок был необычайно ветхим, слабым и беспомощным, он с большим трудом взобрался на трибуну. Зал замер, ожидая речи. Все полагали, что по старости, чувствуя приближение финала, он будет верным защитником воскрешения и бессмертия. Но старичок в качестве преамбулы сообщил, что биологической науки в СССР нет, и ему стыдно быть доктором биологии. Это ему простилось и даже послышались одобрительные возгласы.

Далее последовали цитаты из Фрейда о психобиологической природе социальных явлений. И это было встречено благожелательно. Старичок, видимо, тоже наслаждался свободой: где еще о Фрейде можно говорить столь непринужденно? Докладчик чмокал губами и произносил, смакуя, каждую букву: Фройд, Фройд... Он говорил именно Фройд, а не Фрейд, с каким-то особым прононсом, делающим его похожим на кадетского профессора, чудом дожившего до 70-х годов века.

Зал терпеливо выслушал и эти заклинания, ожидая, что за этим последует пламенная речь в защиту воскрешения, но старичок, обведя зал взглядом маленьких востреньких глазок, произнес не без ехидства: "Фройд, Фройд, Фройд — великий ученый говорил, что человек — существо биологическое, а поэтому неизбежно должен умереть."

Зал взорвался. Кто-то крикнул: "Как можно было ему давать слово?!" Но старичок, с презрением оглянув ряды "воскресителей" с величавым достоинством сполз с трибуны и исчез.

Заседание оканчивается, и мы выходим на улицу. Погода по-прежнему ясная, небо голубое, безоблачное. Потеплело, и солнышко перестало быть латунной бляхой, но стало теплой желтой лепешкой, только что вынутой из печи. Летающая паутинка повисает на моем семитском носу и слегка щекочет его. Рядом со мной докладчица, коротко стриженая обладательница широкой слегка покачивающейся задницы.

Свежий воздух щедро и просто вливается в мои легкие. Я смотрю на синее спокойное и гармоничное небо, теплень-ко-добродушные фасады пушкинского времени, на мерно по-качивающийся зад федоровистки, и мне хорошо, потому что я знаю, что все должно образоваться и не может быть иначе.

Аппетитную федоровистку я обольщу в ее же гостиничном номере или, на худой конец, по приезде в Москву — надо будет не забыть взять ее номер телефона. С диссертацией тоже рано или поздно все устроится, ведь не дурак же я и не диссидент. А не диссидент я потому, что понимаю косми-чески-метафизическое значение советской власти: она и есть то "общее дело", без которого ни воскрешение, ни заселение космического пространства невозможно. И с человечеством тоже все будет как следует. Не может же быть, чтобы все: солнышко, такое сейчас нежное, веселое и ласковое, чирика-ющие воробышки, паутина, красный лист, прилипший к чу-гунной ветке, и этот чудный, неповторимый зад — исчезло без следа, растворилось бы в космической бездне. Да и безд-ны вовсе нет, все это воображение и вымысел, а есть жизнь — веселенькое, желтенькое и голубенькое.

Федоровистка осязает мой направленный на ее сдобную фигурку взгляд и, повернув ко мне голову, лукаво стреляет в меня глазками. "А ты знаешь, Дмитрий, недавно мне рас-сказали, что после прочтения "Рабле" Бахтина кто-то сочинил шутливый стишок и начинался он, кажется, так: "И зад ее те-лесен и был совершенно прелестен". Или что-то в этом роде. А не выпить ли нам, Дмитрий Владимирович? Как вы насчет во-дочки?" Я соглашаюсь, что дело идет к вечеру и время самое хорошенько поддать. Через полчаса мы сидим у нее в номере и, откупорив бутылку, раскладываем на бумаге закуски: какие-то красноватые, костлявые рыбешки с испуганным удивлением пялят на нас свои непропорционально большие глаза. Мы, крякнув, опрокидываем в себя водку и начинаем общипывать рыбешек, и вскоре превращаем их в кучку кос-точек. Мы приходим к выводу, что эти перемешанные кос-точки трудно будет заново одеть в живую плоть, но трудное вовсе не значит невозможное, и рыбки будут обязательно воскрешены.

Выпив еще один стакан, я решительно кладу свою ладонь на колено федоровисточке. Она поворачивает ко мне лицо и устало говорит, глядя мне в глаза: "Не надо, Дмитрий, оставь-те все это". Я снимаю руку с ее коленки и выхожу из дома.

Деревья и дома обуглились, куда-то исчезло веселое чири-канье воробьев, и мертвящая тишина опустилась на улицу. Но главные изменения произошли на небе. Голубенькое, ве-селое покрывало кто-то сдернул и обнажил чернильную пус-тоту с тысячами холодных, безжизненных блесточек, подве-шенных кем-то на неизмеримых расстояниях от земли. Как будто оттуда, из этой пустоты, подул пронизывающий ветер и, чтобы согреться, я быстро зашагал по улице, освещаемой тусклым светом качающихся фонарей.

"И зачем я завалился к этой идиотке? Четыре рубля ухло-пал на водку, да на закуску рубля два, и вечер пропал. А у меня работа есть: нужно конспектировать ламартинскую "Историю жирондистов" — она у меня уже давно просрочена и нужно в ближайшее время сдать ее в библиотеку...

Думал, что доклады наши напечатают тоже, будет хоть какая-то публикация. А вчера сказали, что еще предстоит этим докладам пройти сто двадцать инстанций, прежде чем разрешат тиснуть тиражом в десять экземпляров.

Зачем я вообще на эти "чтения" приехал? Четыре дня ра-бочих потерял, а это ведь почти двадцать рублей чистыми! А если к этому прибавить затраты на гостиницу и проезд, то и того больше выйдет.

В то время как обрывочные фразы зло и беспомощно би-лись у меня под черепной коробкой, я подошел к склону холма; город расползся до самой реки и внизу, среди блек-лых очертаний домов виднелись два черных шпиля собора. Я стоял у самого обрыва. Холодный, пронизывающий ветер все сильнее дул с реки. Белая, густая лента Млечного пути про-черчивала небо мертвенной, холодной полосой, волочащейся за кормой идущего по ночному морю корабля. Я был один на корабле, который уже давно отошел от родных берегов, а впереди не было ничего, кроме холода и пустоты. И логич-ней всего было броситься с борта прямо в белесую ленту с

сотнями миллиардов холодных искорок и без боли, свободно раствориться в них.

"Какое тут может быть расселение человечества по космическому пространству, — в то время как я это думал, белесая полоса смотрела на меня холодно и внимательно, как исследователь энтомолог на подопытную букашку, — и бессмертие? Разве не очевидно, что жизнь — это просто случайная рябь на этом холодном, черном космическом море? И разве управишься с этими звездами? А вся мировая история — это расползание плесени по земле, подергивания, пульсации и отсыхание отживших частей.

Было холодно, и стрелка часов приближалась к двенадцати, и я повернул домой. А вдруг это действительно случится, воскрешение это? Я живо представил себе, как это произойдет: из ниши кремлевской стены начнут вылезать, отряхивая красную кирпичную пыль со своих сюртуков и мундиров, секретари, генералы и партработники. И я буду тоже воскрешен, чтобы служить им. И если это так, то это будет самой страшной несправедливостью, ибо отнимет у меня последнюю надежду на равный для всех суд и наказание — наказание смертью и забвением...

Утром я снова сидел в зале, рядом сидела уже давно мной примеченная особа средних лет с мраморными прожилками в собранных пучком волосах. Она пристально всматривалась в лицо оратора, прислушивалась к его словам и быстро строчила что-то в блокноте. Дождавшись конца речи оратора, я придвинулся к своей соседке совсем близко и сказал: "А я не думаю, что нужно всех воскрешать. Может быть, кого-нибудь и не стоит". — "Это кого же это не следует воскрешать?!" — агрессивно переспросила меня соседка. "Ну, Гитлера, например", — осторожно ответил я. "Вы — фашист!" — "Почему?"

Да потому, — назидательно стала говорить мне особа, как тупому и нерадивому школьнику, который даже не потрудился прочесть пару страничек учебника, — что вы плохо изучили Федорова. Он ведь указывал, что воскрешение предков может произойти только в порядке очередности, поколение за поколением; так вот если мы не воскресим Гитлера, то не

воскресим и его предков — у Гитлера ведь тоже были отец, мать, дедушка, бабушка и так далее. И что же это обрекать всех их на вечную смерть из-за какого-то там Гитлера? До этого только фашист может дойти".

Но мне не хотелось воскрешать Гитлера и еще многих, многих других и, взяв слово, я сказал: "Товарищи! Конечно, мы никак не можем признать реакционных взглядов всяких гартманов на отношение человека к его месту в космическом пространстве. Мы никак не можем признать их идеи о необходимости самоуничтожения человечества. Признав это, мы допустили бы серьезнейшую идеологическую ошибку. У человечества, безусловно, есть шанс на вечную жизнь. Но противоположный вариант ведь тоже исключать нельзя: вполне возможно, что выйдет загвоздка с вечной жизнью и исчезнет, как указывал Ф.Энгельс, "мыслящий цвет". И воскрешение тоже ведь может не получиться".

"Кто разрешил ему взять слово?!" — услышал я чей-то выкрик и увидел устремленные на себя беспощадные глаза впереди сидящих федоровистов, среди них особенно выделялась дама с мраморными прожилками в волосах, которая, видимо, никак не желала расстаться с личным бессмертием и вечной жизнью человечества.

"Кто, кто дал ему слово?" — продолжало настойчиво-злобно нестись со всех концов зала. Поскольку ответа не последовало, то один из наиболее агрессивных "воскресителей", подойдя к месту, где сидел председательствующий доктор наук, генерал-майор и либерал, — выстрелил ему вопросом прямо в лицо. Генерал извиняюще развел руками. Я быстро сошел с кафедры и почти выбежал на улицу.

Небо было голубое, глянцевое, слепящее, отвратительное, и желтые дома эпохи Николая Павловича городовыми выстроились в ряд. Редкие прохожие попадались мне на пути, но у винного ларька уже стояла солидная очередь.

"Подпольщики! Социалисты! Хотят человечество воскрешать по плану и организованно; и чтобы была затем тотальная космическая гармония с надзором и исправлением падших и заблудших. Не хочу этого. Пусть сами себя воскреша-

ют и тех, кто на это согласен — партработников, директоров, преподавателей диамата и диссидентов всех сортов, а меня не надо — уж пусть я сгину без следа со всеми моими предками. Но будет у меня та единственная свобода, которую не может отобрать никто, даже самый деспотический из всех земных режимов — свобода разорвать это глянцевое, голубое покрывало лжи и прыгнуть в ничто — в белесую пудру Млечного пути. И надо спешить... Спешить на вечернюю электричку, идущую в Москву: путевки мне уже выписали. И мне надо взять их прежде, чем Бюро наше закроют".

Я собирался покинуть Калугу еще днем, но провозился до самого вечера и, когда сел в автобус, мутная тьма окружила меня со всех сторон. Автобус испуганно и бессмысленно тыкался усиками света то в одну, то в другую щель между домами. Электричка подошла к платформе, громыхая вагонами, и я забрался в один из них. Поезд тронулся и вагоны плавно меня укачивали. "Надо сдать и законспектировать Ламартина, — мысль возникла без всякой связи с предыдущими, — и писать. А когда наступят лучшие времена, тогда и напечатаю. Ведь когда пишешь в пустоту и для пустоты, посылаешь сигналы в эти белесые космические сгустки, тогда-то и создаешь что-то стоящее; вот Лосев, например, лет тридцать его никто не печатал, а к девяноста годам стал выпускать книжку за книжкой. А доживу ли я до девяноста лет? И зачем мне все это? Книги, положенные на могильный холм... И как воняет отвратительно в этом вагоне — наверное пьяный наблевал и не убирает... Да и винить их нельзя: попробуй, найди уборщика на пятьдесят рублей... Надо немного поспать, а то завтра рано вставать, да и три часа до Москвы трястись".

Я прислонился к стенке сиденья и попытался задремать, но через некоторое время кто-то тронул меня за плечо. Длинная фигура с одутловатым лицом медленно покачивалась надо мной, глаза пьяно блуждали. "Ты иностранный подданный или нет?" — "А какое это имеет значение?" — "А вот какое: ежели ты наш, то дам по морде, а ежели иностранный, то нет". — "Я ваш, а ежели ударишь, то отвечу", — смело

ответил я качающейся личности и вовсе не потому, что любил драться, как раз наоборот, а потому, что видел, что достаточно только ткнуть, чтобы личность растянулась на полу вагона. Видя мою решительность, фигура, покачавшись немного на месте, отошла, и тут же поезд тряхнуло и он встал; гражданин, клевавший носом возле меня, проснулся от толчка и, ошалело захлопав глазами, схватил свою авоську.

Я понял, что мы приехали. Я вышел из вагона. В Москве шел дождь, мелкий, моросящий. Все: люди, перрон, поезд — были выкрашены в серые, блеклые тона; а впереди черным пятном виднелась пасть метрополитена. Среди размытых, неопределенных цветов только это черное пятно было определенным, ясным и беспрерывно втягивало в себя тысячи маленьких, блеклых фигурок. Я знал, что это и моя судьба, и потому сделал шаг к черной воронке, но совсем близко от нее холодный пот выступил у меня на лбу (я, наверное, простудился) , и ноги подкосились. Но я сказал себе, что это глупости и этого избежать нельзя... И надо вовремя взять путевки, а то придется приезжать в Бюро ни свет ни заря до начала работы. И я встал на эскалатор. И как только я это сделал, мне сразу стало свободно и радостно, ибо теперь уже нельзя было ничего изменить. Все было предопределено, и лента быстро понесла меня вниз.

НАУМУ КОРЖАВИНУ — 60 ЛЕТ

Кто из нас знает, как отмечать юбилеи поэтов и что сказать в этот день о Науме Коржавине? Что он замечательный русский поэт? Что многие из нас знают и любят его? Что желаем ему многих лет жизни? Но столько этих и подобных им фраз было сказано на писательских юбилеях, что охватывает нас боязнь — как бы не получился он лубочным, этот живой, вечно всклокоченный и вечно бунтующий, не знающий себе равных по дарованию и темпераменту Наум Коржавин. Он поэт трагичной и прекрасной судьбы. И к тому же неповторимой. Трагичной не только потому лишь, что почти мальчиком был брошен в сталинские лагеря — через лагеря в те годы прошли многие. И не потому лишь, что в России почти не печатался, хотя и был любимым поэтом Твардовского. Не печатаются при этом режиме многие истинные писатели. Но глубоко трагичен сам рисунок жизни Коржавина, когда он, русский поэт, один из самых больших поэтов нашего времени, вот уже многие годы вынужден жить в изгнании, в такой невообразимой дали от Родины.

Об этой его связи с Россией никто не сказал с такой силой, как сказал он сам в своей "Поэме существования (Бабий яр) ", напечатанной в первом номере нашего журнала "Время и мы".

Но убить меня — просто. Сказать: "Не твоя Россия..."
Ведь она — моя жизнь, путь к вселенной, и к Богу, и к песне.
Но бывает, что скажут... И, все потеряв, обессилев,
Я тогда ощущаю опять под ногами бездну.

Ощущая под ногами бездну, не зная пристанища, мытарствует душа поэта "в этом вздыбленном мире, где люди в раздоре с Богом". Но сам поэт всегда оставался верен себе — и там, где вынужден был жить и писать под тяжким сапогом режима, и здесь, вдали от Родины-России — "и свет и любовь до сих пор в моем сердце живы". И не в этой ли верности себе, своему стиху и слову неповторимо прекрасна судьба Наума Коржавина?

Иван ЖДАНОВ

ИУДА ПЛАЧЕТ — БЫТЬ БЕДЕ

* * *

Иуда плачет — быть беде!
Печать невинного греха
он снова ставит на воде,
и рыбы глохнут от стиха.
Иуда плачет — быть беде!
Он отражается в воде.
И волны, крыльями шурша,
и камни, жабрами дыша,
следят за ним.
Твердь прорастает чешуей,
и поглощаемый слезой
твердеет дым.
Иуда плачет — быть беде!
Опережая скорбь Христа,
он тянется к своей звезде
и чувствует — она пуста.
В ней нет ни света, ни тепла —

одна промозглая зола.
Она не лед и не вода,
ей никому и никогда
не смыть греха.
И остается в голос свой
вводить, как шарик огневой,
упрек стиха.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Мелеют зеркала, и кукольные тени
их переходят в брод и возвращают нам
забытые черты невинных отражений,
и множат этот мир, и он трещит по швам.

Вот так перед толчком вдруг набухают кошки,
сквозь непролазный вой чугунный шар катя,
подземный гром гудит при свете медной плошки,
и воскресает дождь, и плачет, как дитя.

И не стряхнуть листвы окаменевшей дрожи,
и не поднять руки, и не поймать зрачки,
там жарится руда для корабельной кожи,
и катится орех по полю вдоль реки.

Вот-вот переведут свой слабый дух качели,
и рябью подо льдом утешится река.
И, плачем смущена, из колыбельной щели
сквозь зеркало уйдет незримая рука.

* * *

Мы эту ночь с тобой не проведем,
а утром не проснемся на рассвете,
не удивимся, не увидим это:

далеко в море перешедший дом.
Он не поможет расцвести волне
и даже завязаться не поможет,
его не будет, и никто, быть может,
о нем не вспомнит, увидав во сне.
Но почему, как много лет назад,
я эти окна снова вспоминаю
и в них смотрю, и двери открывают?
Не ты ли, Моцарт, в этом виноват?
И если есть в нем щели и пазы,
свистит в них ветер и доносит с улиц
тот мерный шум, в который завернулись,
как в одеяло, шорохи грозы.
И вечерами волны надо мной,
распахиваясь, близятся в приливе
и мечутся в своем речитативе,
из пенных створок падая в прибой.
Не твоего ли, неизбежность сна
уже во всем встречается примета?
Твой сон — само утяжеленье света
и облегченье мрака. Ты ясна...

ДО СЛОВА

Ты — сцена и актер в пустующем театре.
Ты занавес сорвешь, разыгрывая быт —
и пьяная тоска, горящая, как натрий,
в кромешной темноте по залу пролетит.
Тряпичные сады задушены плодами,
когда твою гортань перегибает речь
и жестяной погром тебя возносит в драме
высвечивать углы, разбойничать и жечь.
Но утлые гробы незаселенных кресел
не дрогнут, не вздохнут, не хряснут пополам,
не двинутся туда, где ты опять развесил
крапленый кавардак, побитый молью хлам.

И вот уже партер перерастает в гору,
подножием своим полсцены обхватив,
и, с этой немотой поддерживая ссору,
свой вечный монолог ты катишь, как Сизиф.
Ты — соловьиный свист, летящий рикошетом.
Как будто кто-то спит и видит этот сон,
где ты живешь один, не ведая при этом,
что день за днем ты ждешь, когда проснется он.
И тень твоя прошла по городу нагая
цветочниц ублажать, размешивать гульбу.
Ей некогда скучать — она совсем другая,
ей нечего дудеть с тобой в одну трубу.
И птица и полет в ней слиты воедино,
Там свадьбами гудят и лед и холода,
там ждут отец и мать к себе немого сына,
а он глядит в окно и смотрит в никуда.
Но где-то в стороне от взгляда ледяного,
свивая в смерч твою горчичную тюрьму,
рождается впотьмах само собою слово
и тянется к тебе, и ты идешь к нему.
Ты падаешь, как степь, изъеденная зноем,
и всадники толпой соскакивают с туч
и свежестью разят пространство раздвижное,
и крылья берегов обхватывают луч.
О, дайте только крест! И я вздохну от боли,
и продолжая дно и берега креня.
Я брошу балаган и там, в открытом поле...
Но кто-то видит сон, и он длинней меня.

* * *

в.ч.

Откуда нам было заметить, что в трех километрах отсюда,
от этого бара чумного, куда нас судьба занесла,
в полях полковые зарницы, питомцы армейского зуда,
нам веерной сталью маячат сквозь толщу пивного стекла?

Откуда нам было дознаться, что это за нами следила
гремучая ветка рябины, с полыни сдирая слюду?
Но звезды в продольном разрезе сплела телефонная жила,
и все предрешенные встречи запутались в них на ходу.

Не лопнет струна гороскопа, пока номера телефонов
полярными буднями диска из будки глазеют в окно.
Трепещет ли нитка в рубахе, рябину ли гнет Персефона,
а звездная нить расставанья укромное рвет полотно.

Еще не готовые к встрече, но годные к убыли мерной,
мы здесь, за дубовым окопом, повитые хмелем замрем.
Но как обесточить зарницы? — в их удали цепкой и нервной
нацелено что-то такое на нас дальнобойным ядром.

Пускай электрической плотью себя одевает рябина,
пусть ночь остается на месте, а почва плывет из-под ног,
отечество — ночь и застолье, а все остальное — чужбина;
мы — верные граждане ночи, достойные выключить ток.

ПОРТРЕТ

Ты можешь быть русой и вечной,
когда перед зеркалом вдруг
ты вскрикнешь от боли сердечной
и выронишь гребень из рук.
Так в сумерки смотрят на ветви,
в неясное их колдовство,
чтоб кожей почувствовать ветер,
прохладную кожу его.
Так голые смотрят деревья
на листья, упавшие в пруд,
туда их, наверно, поверья
листвы отшумевшей зовут.
И гребень и зеркало рядом,
и рядом деревья и пруд,
и что-то скрывая за взглядом

глаза твои тайной живут.
Ты падаешь в зеркало, в чистый,
в его неразгаданный лоск,
на дне его ил серебристый,
как лед размягченный, как воск.
Искрящийся ветр, перешитый,
навек перестроенный в храм.
И вечный покой Афродиты
незримо присутствует там.
Улыбка ее и смущенье
твое озаряет лицо,
и светится там в отдаленье
с дрожащего пальца кольцо.
Ты вспомнишь: ты чья-то невеста,
чужая в столь зыбком краю.
И красное марево жеста
окутает руку твою.

СМЕХ

Смех подошел ко мне вплотную
лицо руками обхватил
и душу теплую живую
в один щелчок опустошил.
И, как с костра за дымом пламя,
моим смятением влеком,
он губ моих пятью перстами
срывал язык за языком.
О, дайте тяжесть разговора,
прервите, не вводите в грех!
Как ивы в грустные озера,
свисали плечи в глупый смех.

* * *

Березовый ли сок дымится или рана?
Бросай монету в щель — и вздрагивает автомат,
и, форму переняв граненого стакана,
дохнут в лицо туман и жидкий виноград,
И кажется, внутри жестянки-автомата
деревья, разломав по косточкам стволы,
срывая кожу с лиц и кошениль с заката,
торопятся назад сквозь черноту золы.
Торопятся назад, разъединяя запах
ромашки и воды, спешат обратно в прах.
И вот уже стакан на перебитых лапах,
облепленный листвой, расплескивает страх.
Торопимся и мы. Куда? Еще не смыта
со стенок бытия запекшаяся кровь.
Мы падаем в стакан — в стеклянное корыто,
и век глотает нас за славу и любовь.

* * *

И музыка поражена,
И в пряди русые рояля
Уже вплетается она.
И, воздух срезанный печаля,
Прозрачной кажется стена.

Еще чуть-чуть. Наоборот,
сначала будь стерней колючей
под снегом желтой — и вот-вот
тот шелест чуткий и дремучий
со стеблем вместе прорастет.

Наполни шорохами звук,
верни его в зерно немое,
пускай он выпадет из рук —
и прорастет, усилясь вдвое,
в молчанье брошенный испуг.

А после стены прорастут
своей прозрачностью, и лица
из тьмы появятся — и тут
никто не сможет поручиться,
что стебли нас не обоймут.

ПЕСЕНКА

А вековая тяжесть эта
по камню, видно, тосковала,
да не нашла его и где-то
меня случайно повстречала.
А где нашла меня, не скажет,
пока на дно со мной не ляжет.
Но тяжелее дна морского
вся тяжесть вековая эта,
уже окаменело слово,
не получившее ответа.
И как спасти его не скажет,
пока на дно со мной не ляжет.
Я стал безропотною тенью
и гостем собственного тела,
и недоступная спасенью
моя тоска окаменела.
А что ее мертвей, не скажет,
пока на дно со мной не ляжет.

Теодор ГЛАНЦ

МИР, ПОХОЖИЙ НА БЕДЛАМ

МИРАЖ

Не сразу попадешь в мираж.
Сначала в бронзовых сандалиях,
Крылатый лев, пустынный страж
На желтой синеве, а дале —

Кривое тулово уродца
(Ручонки сложены крестом)
На выступающем колодце
Из синей желчи, а потом —

Сон: одиночество брахмана.
Превыше йоговских систем
Иллюзия самообмана,
Что ты не одинок. Затем

Усы над мискою провисли:
Улыбка черного кота,

Зрачки, вбирающие мысли
Из выжженных мозгов. Тогда

Исчезновенье в инфернале.
Тугой неколющий венец.
Затем, что был потом и дале,
И наступил тогда конец.

* * *

На колорит картин расплывчатую тень
Входящего бросает полдень сизый.
Стекающий с полотен яркий день
Сгущается химерами в карнизах.

На колорит тоски — расплывчатый мазок
Своей души, о ангел озаренья —
И потечет янтарно-бледный сок
По своду зала, тронутому тленьем.

Там сырость проступает сквозь карниз —
Вступленье слез на выступе барочном,
И нетопыри вспархивают вниз
От высоты свободной, но непрочной.

Там сквозь свинцово-призрачную мглу,
Зловонных трав причудливые блики.
Рассвет приходит чуткий и безликий,
Как дромадер, пройдя через иглу.

РЯЖЕНЫЕ

С усами, жутко подрисованными,
Он движется, герой-отступник,
По мостовой, исколесованной
Как государственный преступник.

За аккуратными аллеями,
Пугая мерзнущую птицу,
Трясутся: борода приклеенная
И театральные ресницы.

Не знают мчащиеся санки,
Какая спрятана угроза
Под Арлекином, Ванькой-встанькой,
Мальвиной или Дед-морозом.

Над ним повисли аллилуями
Собачий визг и пенье птичье.
И маску дарят поцелуями
Те, кто терзал его обличье.

И в чудеса он топчет веру,
Входя в подъезды, внутрь и мимо,
С колючим носом Люцифера
И синим взором херувима.

Его встречают лязгом, грохотом.
Еще немножечко мороки —
И новый век, как шут гороховый,
Обнимется со скоморохом.

НАОБОРОТНЫЙ МИР

Я видел мир похожий на бедлам,
В пустыне жгучей — дамбы и запруды.
В святилищах — вино, плевки и хлам.
На свалках — золота и бриллиантов груды.
Грязь в алтаре и в стойле фимиам.
Христа, отрекшегося от Иуды.

Быть может, он мне виделся оттуда,
Из оборотной стороны реклам,

Где гравий, кажущийся изумрудом,
Бросает в пот мужеподобных дам,
И мы боимся пяток лилипута.

Я думал, это было в сне пустом,
Где, словно подгоняемый хлыстом,
Клочок тоски сгущается в виденье.
Но здесь Иуда, преданный Христом,
Вставал и шевелил щербатым ртом.
И бешеное начиналось бденье.

ДВЕРЬ

Дверь захлопнулась перед носом,
Заострившимся от испуга.
Зачеркнувшая все вопросы
Деревянно-крашеных стен.
Заскрипевшая голосами
Поводящих шеями сфинксов.
Дверь, я буду беседовать с вами,
Не вставая с сухих колен.

Дверь, вы думаете, мне внове
Ваша масляная стыдливость?
И захлопнувшие вас руки
Белый вызов ночной тиши.
Отделяйте сегодняшней скукой
Послезавтрашнюю гадливость,
Послужив для нее границей
Со вчерашним восторгом души.
Всех начал я конец предвижу
В скрипе ваших несмазанных петель.
Словно музыки нету больше —
Бесконечный траурный марш.
Я ударюсь грудью об ветер,

Я наполню улицей сердце,
Я в тоске в мясорубку всуну
Головы оранжевый фарш.

— Милый мальчик, мне, думаешь, сладко
Быть всю жизнь сердец разделеньем?
Мне б у вечности взять отгул!
Мне б у времени взять отбой!
Я сама мечтаю украдкой,
Вопреки человечьим веленьям,
Позабыв долгов аксиомы,
Распахнуться перед тобой,

Но у времени есть законы —
Нет не нам возродить прошедшее.
И не нужно томными стонами
Ворковать о тоске бытия.
Пусть фанатик кричит о будущем,
Пусть о прошлом твердит сумасшедший.
Настоящее — время сильных.
Настоящее — это я.

Пусть оно и не очень красиво —
Не стучите в меня ногами.
И прочнее бетонных дотов
Заржавевший и старый крюк.
Над шипением анекдотов,
Над мечтателями-врагами
Я воздвигнусь вызовом белым
Мною хлопнувших мягких рук.

Дверь стоит приятно осклабясь.
Дверь застыла, ответом гордясь
Новых фраз предчувствуя завязь,
С дверью я порываю связь.

Я бреду по лестнице жизни
Этажом запечатанных комнат.

Кто-то томно за дверью взвизгнет,
Кто-то в ночь фонариком брызнет,
Но меня здесь никто не помнит.

Но я лезу упрямо выше,
Хоть колотится кровь в виски.
Может быть, новый день я увижу
У последней чердачной доски.

ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ

Я пьяный в дым корабль Рембо Артюра,
На мне дрожат, как пятна от вина,
Сюжеты всех романов авантюрных,
Всех континентов красная луна.

Торпеды всех веков меня таранят,
И скалы стонут в штормовые дни:
— Стань на прикол! Ведь ты вконец изранен!
Ты заслужил покой, так отдохни!

Но не уйду я, не свершу измены,
По всем морям несется мой напев,
Пускай вино все выпито, и пену
Я пью, до переборок опьянев.

Пускай давно насквозь пробито днище
И стрелки лет несут меня к концу —
Ничьих сапог тугие голенища
Не проскрипят по моему лицу.

Один конец — у лайнеров холеных
И у бродяг, просоленных, как я:
Глядеть в глазницы рыб глубоководных,
Где плещет рек подводная струя.

Один конец от голода ль, от жира.
Так пусть, уйдя за видимый рубеж,
Над свалкой туш дородных пассажиров
Я пронесу бесцельный свой мятеж.

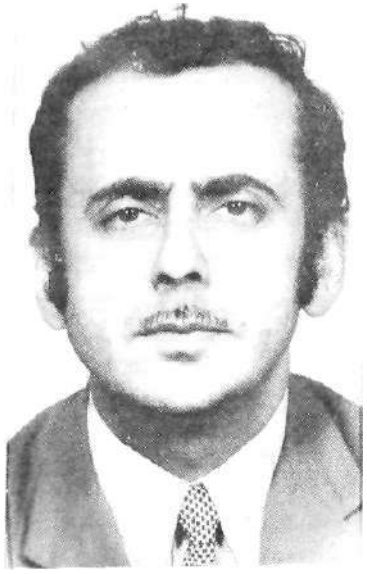
Я пьяный в дым корабль из оперетты,
Я дымный трагик с клоунской судьбой,
Мальчишки всех дорог, забытые поэты
Меня кружат по луже дождевой.

* * *

Труби, душа! Я на пороге ада.
Из всей к вратам спешащей мелюзги
Я самый мелкий. У меня досада:
Все знают: у меня гниют мозги.

Я был бы идеальный подсудимый
Пред тем судом, где черепа кроша,
Ножи вонзают в сердце — но клоним я
К раскаянью: гниет моя душа.

Мои грехи все собраны на блюдце:
Немножечко юродства, воровства,
Немножко погрязаний в сладком блуде,
Немножко приторного естества —
Все это на зубах владыки мира
Не тронуло б и мускула лица,
Хрустящего, как блесткая порфира,
Но есть преграда: сгнившие сердца.



Борис МОЙШЕЗОН

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИДОЛАХ

Всякий раз размышления о компьютерах вводят меня в некий замкнутый круг, из которого не так просто выбраться. С одной стороны, мне трудно представить общество будущего, где компьютеры не играли бы огромной, может быть, даже доминирующей роли. Я бы рискнул сказать даже так: именно компьютерам, возможно, предстоит заменить в этом мире униженных и оскорбленных. Не исключено, что возникнет реальная перспектива создать общество, где будет равенство. То есть появится шанс, когда всю тяжелую, унизительную работу, и прежде всего связанную с любого типа рутиной, примут на себя электронно-вычислительные машины. Общество обретет гигантскую армию технических исполнителей, беспрекословных, не сетующих на изнурительный труд, не устраивающих забастовок, не требующих повышения зарплаты.

Но при всем этом у меня нет однозначного ответа на вопрос: сделает ли компьютер человека более счастливым?

Я даже не уверен, что при определенных условиях он не поведет нашу цивилизацию по пути вырождения.

Чтобы разобраться в этом, давайте вначале ответим на вопрос, каковы реальные возможности компьютера? Насколько он в действительности способен заменить человека? На этот счет существует огромное количество литературы, содержащее еще большее количество спекуляций о надвигающейся компьютерной эпохе, о компьютерном человеке, его неограниченных возможностях и т.д. Но когда мы пытаемся ответить на однозначно поставленный вопрос: что может компьютер? — то получаем в общем однозначный ответ: он может делать вещи очень определенные, не идущие ни в какое сравнение с задачами, выполняемыми человеческим мозгом. То есть, конечно, он способен выполнять какую-то часть его работы. Но какую именно? И вот о том, какая сфера мозговой деятельности по плечу электронно-вычислительным машинам, я бы и хотел поговорить.

Обратимся к двум широко известным вещам: машинному переводу и распознаванию образов. О проблеме машинного перевода речь идет уже десятилетия, но никакими реальными достижениями компьютерные переводчики похвастаться не могут. И вот почему. Осуществляя перевод, компьютер с помощью умело составленной программы способен без особого труда отыскивать лексические и, возможно, даже синтаксические аналоги. Но он абсолютно бессилен перед задачей перевести с одного языка на другой мысль. В лучшем случае он может сделать плохой подстрочник, но не полноценный перевод со всеми нюансами, оттенками, подтекстом оригинала.

И еще один, почти детский пример. Известно, что наш мозг обладает уникальной возможностью распознавать образы. Если вы увидели человека десять лет назад всего один или два раза, то, несмотря на прошедшее время, вы без труда узнаете его в толпе. Как показывают эксперименты, компьютер не способен распознавать двухмерные образы.

Можно привести еще множество примеров, показывающих его ограниченные возможности по сравнению с нашим

мозгом. Но давайте попытаемся подойти к некоему более общему фундаментальному ответу, чтобы понять, в чем тут дело.

Еще много лет назад, решая математические задачи, точнее, отыскивая в них ошибки, я чисто условно пришел к мысли о существовании двух типов мышления — "последовательного" (одномерного) и "параллельного" (многомерного).

Позже я часто обращался к этой условной схеме. Дело в том, что последовательное, или компьютерное, мышление — это и есть мышление чисто логическое, при котором наша мысль продвигается вперед маленькими, последовательными шажками. Один шажок логически вытекает из другого, без малейших зигзагов и отклонений. В виде такой вытянутой линии нетрудно выразить книжный текст, бухгалтерские расчеты и даже язык нашего общения.

Но в то же время каждый профессиональный математик, чья деятельность неизменно связана с поиском ошибок, знает, что, проверяя задачи чисто логическим путем, то есть делая шажок за шажком, невозможно отыскать ошибки. Математики находят их тогда, когда уходят в сторону или откатываются назад, то есть действуют не формальным способом, а путем сопоставления проверяемых расчетов с другими данными. Сверяя, рассуждая, идя то вперед, то назад, математики только так и находят ошибку. И это, собственно, и есть процесс мышления, который не существует без ассоциаций, образов, зигзагов, отклонений, ухода в сторону. Мышление невозможно вытянуть в одномерную линию. И потому оно недоступно или почти недоступно компьютеру. Именно по этой причине ЭВМ могут переводить с языка на язык слова, но не мысли. Они распознают линию, но бессильны перед распознанием двухмерного образа. И там, где решающую роль приобретают идеи, творчество, образы, открытия, — там у вычислительных машин, в принципе, не видно будущего.

Конечно, можно мечтать о так называемых "многомерных" компьютерах, но сколько реализация этой мечты потребует сил и средств, — оценить невозможно.

Могут возразить, что компьютерное мышление имеет само по себе большое значение. И разве не станет величайшим достижением человека, если он построит ЭВМ, способную создавать по образцу нашего мозга безошибочные логические построения?

Тут я хочу отвлечься от темы и показать, к каким драматическим последствиям способно привести бездумное поклонение логике.

Много лет назад, еще в России, читая книгу Моргенштерна, который вместе с фон Нойманом известен как автор теории игр, я встретил в ней одно любопытное высказывание Гаусса — одного из великих математиков и неслыханных вычислителей прошлого века. Так вот, по словам Гаусса, "плохого вычислителя узнают по тому, со сколь большой точностью он делает свои вычисления". Казалось бы, наоборот: если ты хороший вычислитель, ты должен очень точно делать расчет. Однако же, по Гауссу, хороший вычислитель — это человек, который знает, где надо остановиться. Почему же так? Может быть, жалко денег на большие вычисления? Или, скажем, человеческого труда? На самом деле ответ куда более тонкий и нетривиальный.

Дело в том, что, когда вы делаете свои вычисления, вы имеете какие-то исходные, экспериментальные данные. Но, как известно, эти данные никогда не бывают точны. Любой человек, сделавший лабораторную работу, знает, что после того как он закончил измерения, он обязан сделать допуск на вероятную ошибку, всегда существует интервал, в рамках которого возможно отклонение.

И вот, когда, основываясь на этих данных, вы начинаете вычислять, то от арифметических действий интервал увеличивается. То есть полученные "сумма", "разность", "произведение" содержат уже гораздо большую ошибку. Деление — это вообще чудовищная вещь, способная во много крат увеличить неточность.

Если вы делаете слишком много шагов, то начальная ошибка может так вырасти, что результат вообще станет бессмысленным.

То же самое относится и к логическому мышлению, которое уподобляется длинной цепочке вычислений. Когда вы начинаете логически рассуждать, вы исходите из неких аксиом. Но любые аксиомы по самой своей сути неточны, в них всегда есть какая-то условность, попытка абстрагироваться, уйти от реальности и т.д. То есть уже у основания вы что-то теряете и делаете ошибку. И когда выстраивается длинная цепочка, то, естественно, уход ваш может быть очень сильным.

Существует, например, такая известная вещь, как неэвклидова геометрия, или геометрия Лобачевского. Что такое неэвклидова геометрия? Есть аксиома параллельности, то есть через точку вне прямой вы можете провести только одну параллельную. В неэвклидовой геометрии она заменяется другой аксиомой — что через точку вне прямой можно провести больше, чем одну параллельную. Казалось бы, изменили только одну из аксиом геометрии. Но выясняется, что когда на этой основе вы начинаете строить цепочки, то попадаете совсем в иной мир. В этом неэвклидовом мире мы видим огромное число вещей, которых нет в нашей геометрии — нет там подобных треугольников, сумма углов треугольника не равна 180° и может быть как угодно близка к нулю.

Что касается умозрительных, логических конструкций и просчетов, которыми они чреваты, то это не просто вопрос чистой теории или игры ума. Именно таким образом становятся понятны многие ошибки "прогрессивных" западных интеллектуалов, которые в своих рациональных, логических построениях доходили до идеализации советского социализма и поклонения Сталину. Часто это происходило у них не от злой воли, а от "умничанья", они выстраивали логические пирамиды и, следуя своей умозрительной логике, готовы были не верить своим глазам. Одно вытекало из другого: феодальный строй — из рабовладельческого, капитализм — из феодального, в недрах капитализма родился революционный пролетариат, который создал первое в мире социалистическое государство. Его вождь, выполняя волю истории, разумеется, не мог ошибаться, даже когда уничтожал десятки миллионов своих сограждан. Ибо делал он это во имя светлого будущего человечества.

И вот, вместо того, чтобы мыслить "параллельно", ассоциативно, на основе здравого смысла, оказавшись во власти этакой социальной неэвклидовой геометрии, западные либералы доходят до оправдания сталинских преступлений.

Многие из них и по сей день в социализме видят будущее человечества. Все что ни происходит, они рассматривают в этом плане. Например, ПЛО убивает детей, но, с точки зрения мировой революции и социализма, — это все-таки положительный факт, поскольку расшатывается бастион империализма. Такова логика этих либералов.

Вернемся, однако, к ЭВМ. Компьютер — это по природе своей существо, которое всегда делает длинные цепочки. Когда мы закладываем в него информацию, она сама по себе уже неточна, и в своих длинных логических построениях он как интеллектуал, понимающий Сталина через длинный ход истории, неминуемо натворит много ошибок.

То же явление хорошо иллюстрируется на примере механики. Что такое механика? Она дает нам возможность предвидеть траектории пули, снаряда, корабля, спутника и т.д. Когда мы имеем начальные данные, то с помощью уравнения Ньютона можем предвидеть любое механическое движение. С другой стороны, опять же известно, что в начальных данных всегда есть какое-то отклонение, и чем мы дальше идем по траектории, тем наше предвидение становится все менее и менее точным.

Строго говоря, мы не имеем права последовательно мыслить. Точнее, мыслить т о л ь к о последовательно, длинными логическим цепочками, не выверяя их параллельными ассоциациями и здравым смыслом. Возьмите, например, сыщика. Разматывая цепь преступления, он по дороге проверяет то одну версию, то другую, то третью, он идет как бы зигзагами, сопоставляя одну версию с другой, анализируя, выверяя их здравым смыслом. Все это и есть "параллельное" мышление, которое отличает человека от самого "умного" компьютера.

Чтобы закончить эту мысль, я хотел бы сравнить компьютер с математиком. Кажется, такое сравнение вполне правомерно — в обществе ведь принято думать о математиках как о людях очень сухих, формально логичных, способных каждый шаг выверять разумом, что называется, — люди суперрациональные. Но на самом деле — это совершенный вздор. Человек сугубо рациональный заниматься математикой не может и уж, по крайней мере, не может чего-то достигнуть. Притом по очень простой причине. Ведь чтобы доказать какую-то теорему, ее надо открыть.

Настоящий математик должен генерировать идеи. То есть у него в мозгу, кроме участков, способных к чисто формальному, логическому мышлению, существуют и такие, которые должны быть анархичны и хаотичны до невероятности. Какая-то часть мозга должна быть разболтана. Математик должен обладать колоссальной интуицией. Без этого невозможно внутреннее озарение, а следовательно, рождение новых идей.

Много лет назад меня очень поразил знаменитый советский математик Гельфанд, один из моих научных руководителей в аспирантуре. Как-то в самом начале учебы я в разговоре с ним похвастался, что у меня очень развито чувство самоконтроля. На самом деле оно не было у меня особенно развито, просто с детства, под влиянием "Пионерской правды", я всегда за это боролся — режим дня, сила воли, умение себя организовать, делать все вовремя... В аспирантуре у меня резко улучшился быт, и я искренне уверовал, что здесь-то мне и поможет самоконтроль. Услышав про все это, Гельфанд сказал: "Ну тогда из вас настоящего ученого никогда не выйдет".

Слова эти я запомнил на всю жизнь, а именно, что предельный самоконтроль, дисциплина, рациональность на самом деле могут быть вредны науке. Чтобы мыслить, нужна свобода, раскованность, если хотите, даже анархичность мысли. Все это и характеризует наше многомерное, неодномерное мышление, которое вряд ли когда-нибудь появится у компьютера.

Закладывая программу в компьютер, мы как бы сводим все богатство нашего мышления к одной линии, придаем ему одномерный характер, а если приплюсовать к этому накопление ошибок в длинных логических цепочках, то станет очевидным, какие опасности подстерегают стремление заменить человеческое мышление компьютерным. Чтобы проиллюстрировать это, давайте обратимся к советской экономике. Как известно, она основана на централизованном планировании. В СССР написано множество работ, в которых доказывается преимущество этой системы перед свободным рыночным хозяйством.

Советские экономисты, правда, признают, что в планировании нередко допускаются просчеты. Но в перспективе они видят возможность создать с помощью компьютера образцовую плановую систему. Но что будут представлять собой эти образцовые многоэтажные планы, даже если их удастся выстроить? По существу это будут те же чрезвычайно длинные логические цепочки, где не может не идти накопление ошибок.

Должно быть ясно, что ошибки и отклонения неизбежны даже при составлении плана на одном предприятии. Но будучи накопленными в масштабе отрасли и тем более — страны, они могут приобрести такой размер, что сам план потеряет свое значение.. Отсюда неизбежно, что советская система планирования будет и дальше сталкиваться с трудностями — какие-то планы окажутся нереальными, какие-то чересчур заниженными и их выполнение не принесет нужного эффекта.

Уже сегодня лучшим подтверждением этого является неспособность советского режима справиться с проблемами сельского хозяйства. В свободном мире эти проблемы решаются с невероятным успехом, причем таким малым количеством населения, что правительства могут себе позволить вообще ими не заниматься. Сельское хозяйство как раз и есть та область, где менее всего пригодно централизованное планирование. Влияние погоды и природных условий абсолютно невозможно формализовать, а следовательно, заложить в программу компьютера. И потому при ведении сельскохо-

зяйственных работ особенно важны "свобода маневра", "анархичность", "стихийность", развязывающие руки фермеру.

Впрочем, не только сельское хозяйство. Рынок вообще с его свободными ценами и "стихией" демонстрирует свои явные преимущества перед плановой экономикой. Грубо говоря, тоталитарное государство — по крайней мере в идеале — как раз и напоминает некий гигантский компьютер с его жесткой, одномерной и неповоротливой системой. С другой стороны, компьютеры можно сравнить с подданными такого государства, солдатами, которые отлично вымуштрованы и готовы беспрекословно выполнять команды, но не способны ни к какой самостоятельной инициативе. Поэтому, если говорить теоретически, то компьютерный подход к жизни, основанный на стремлении ввести в программу все ее многообразие, куда более близок тоталитарным странам, нежели демократическим. Другое дело, что хроническое отставание экономики этих стран и их неспособность наладить производство ЭВМ, пока не может вывести этот вопрос за рамки теории.

Так или иначе, говоря о будущем электронно-вычислительных машин, я бы хотел проявить осторожность. Это не значит, что компьютеру навечно уготована роль низшего существа. Я сомневаюсь лишь в том, что в силу специфики своего мышления он когда-нибудь встанет вровень с мыслящим человеком. Но с другой стороны, можно предположить, что когда-то по своим возможностям он приблизится к человеку. И по-видимому, процесс этот будет как бы взаимным, то есть и человек начнет все больше походить на компьютер, вырабатывая в себе элементы одномерного компьютерного сознания. Иначе говоря, речь пойдет о конвергенции человека и вычислительной машины. Как это можно себе представить?

Есть известное наблюдение, что люди, оказавшиеся в чужой этнической среде, начинают уподобляться ее представителям. Более того, есть даже наблюдения, что собаки, живущие по многу лет у одних и тех же людей, чем-то становятся на них похожи. И наоборот, сами эти люди начинают по-своему напоминать живущих у них четвероногих. Так вот, чисто

теоретически можно предсказать даже характеристики людей, которые окажутся в мире компьютеров. Они как бы станут частью этого мира, где компьютерные ценности превратятся в реальные ценности их жизни. Люди начнут вживаться в эту жизнь, а компьютеры постепенно превращаться в их идолов, своего рода божков.

Похоже, что уже сегодня мы видим первые признаки этого довольно любопытного процесса — персональные компьютеры (кратко именуемые PC) действительно превращаются в своеобразных домашних идолов. Они не просто помогают решать какие-то технические задачи или, скажем, составлять налоговые декларации. Некоторым людям доставляет все большее удовольствие просто с ними общаться. Появляются компьютеры-шахматисты, компьютеры-астрологи, готовые взяться за предсказание вашей судьбы. Все чаще компьютеры не только вас выслушивают, но и отвечают вам. Не случайно в обиход вошло выражение "поиграть с компьютером", что как раз и означает вступить с ним в некий интимный контакт.

Если этот процесс продолжится, то совсем не исключено, что как раз и произойдет то, о чем я говорил выше, то есть человек начнет походить на компьютер. У него появится тяга к быстроте мышления. Подобно компьютеру, он захочет любые задачи решать молниеносно, вместо того, чтобы поразмыслить, поискать другое, более умное решение. Не получится молниеносно — и не надо: компьютер, как известно, не топчется в нерешительности перед трудностями. Но это значит, что появится опасность того, что человеческое мышление станет более линейным, более формальным и даже примитивным. Из этого мышления начнет исчезать его высшее качество — параллельность, ассоциативность, способность к алогичному внутреннему озарению.

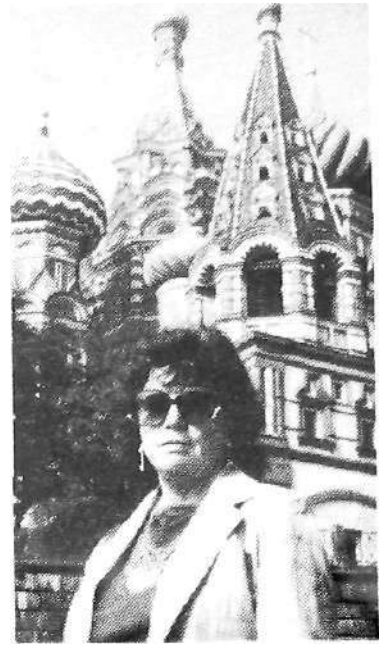
Если пойти в нашем прогнозе дальше, то можно допустить, что компьютеры станут новой религией, к которой люди будут обращаться в тяжелые минуты и которая станет своего рода пристанищем для личности. Отвергнутый девушкой юноша идет за помощью к компьютеру. Кому-то он помогает

найти достойную пару, он утешает в горе, занимается сватовством, разводами, словом, пытается отвечать на множество запросов личности.

Естественно, люди станут менее социальными. Компьютеры заменят им друзей и близких. Но все это значит, что и сам человек с его потребностями должен стать достаточно примитивен, чтобы компьютер при его одномерном мышлении оказался способным удовлетворить всю гамму человеческих запросов.

Разумеется, я имею в виду лишь один пессимистический шанс развития. Но, если он реализуется, мы неминуемо станем свидетелями вырождения человеческого рода.

Остается лишь надеяться, что этого не произойдет и человек останется самим собой, а компьютеры будут послушно выполнять его приказы и сделают его жизнь во всех отношениях более приятной.



Вера ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ

МОСКВА: СЕНТЯБРЬ 1985-го

Всякий раз, когда я приезжаю в Москву и выхожу из гостиницы "Интурист", где обычно живу, я невольно ловлю себя на желании увидеть что-то новое.

Увиденное я невольно сравниваю с тем, что было в последний раз и снова понимаю, насколько мне небезразлична Россия. Возможно, это в силу моего происхождения, о котором я хотела бы сказать несколько слов.

Дед мой адмирал Роберт фон Вирен, был последним военным комендантом Кронштадта и первой жертвой февральской революции: 29 февраля 1917 года его зверски растерзали восставшие матросы. Дядя был крестником великого князя Георгия Александровича Романова, другой дядя в годы февральской революции служил военно-морским атташе России в Вашингтоне. Бабушка — урожденная Третьякова-Морозова вела свой род от боярыни Морозовой. Мама закончила Смольный институт в Ново-Черкасске и по сей день считает себя настоящей смолянкой.

В СССР я езжу довольно часто, как американская славистка и специалист по русским делам, встречаюсь со многими из своих коллег. В Москве знают о моем происхождении и, к слову скажу, что когда в 1967 году я впервые туда приехала, то, кажется, в "Литературке" появилась статья под многозначительным заголовком "Мы из Кронштадта". В статье рассказывалось о том, как 50 лет назад революционные кронштадтские моряки казнили "кровавую имперскую собаку" барона фон Вирена.

С тех пор я не раз бывала в Советском Союзе, и вот теперь, самый последний раз, в сентябре 1985 года, опять поселившись в "Интуристе" и, выйдя, по обыкновению, на улицу Горького, я задала себе все тот же вопрос: "А что изменилось по сравнению с моим последним приездом?"

Начну с того, что довольно часто отмечают иностранцы: это настроение москвичей и вообще советских граждан. Почти все, кто еще недавно возвращался из СССР, отмечали раздраженность людей, их озлобленность, общую усталость, хамство на улицах и, особенно, в магазинах и очередях.

На этот раз мне показалось, что москвичи как бы оттаяли, помягчели, стали намного дружелюбнее.

Приходит на память сценка в вестибюле "Интуриста": к прилавку "Березки" подошел человек, по-видимому, командировочный из Грузии, может быть, из Армении. Попытался что-то купить, последовал ответ продавщицы, что тут продается только за валюту. Командировочный, разумеется, возмутился, повысил голос: где он, в конце концов — в СССР или в Америке? Почему у него не принимают советских денег. Ситуация столь привычная советским людям. В прошлом я и сама была не раз свидетельницей таких сцен. Но чем они кончались? Скандалами. Презрительными окриками продавщиц: де суетесь со своими рублями в "Березку"! Эта же была удивительно вежлива и терпелива. Она словно бы понимала негодование этого человека и всем своим видом говорила, что она с ним согласна, но просто не в ее власти ему помочь.

Большее дружелюбие я неизменно наблюдала у таксистов, буфетчиц, у ресторанных официантов, словом, в той самой советской сфере обслуживания, где если верить даже советским газетам, извечно процветали хамство и грубость.

Один из иностранных журналистов по этому поводу пошутил, что сверху спущена директива — не хамить и быть друг с другом вежливыми. Думаю, что тут дело в другом: с приходом к власти нового руководства у советских людей появилась надежда. Другое дело, оправдается она или нет, но надежда эта живет.

Прежде чем перейти к своим московским встречам, которых у меня было несколько, я бы хотела сказать еще об одном явлении, которое бросилось мне в глаза, — о вспыхнувшей у людей тяге к религии.

Я не рискнула бы вот так, наскоро, давать какое-то глубокое объяснение этому явлению. Скажу лишь о том, чему сама была свидетельницей. Во время своего последнего пребывания в Москве я трижды была на воскресных службах, точнее, в трех церквях и один раз в понедельник на патриаршей службе, посвященной именинам патриарха Пимена. Эта служба продолжалась с девяти до часу дня, и почти четыре часа я, как и масса других прихожан, простояла на ногах. Ни в одной из стран Запада я не видела такого скопления верующих и такой торжественной службы, как в этот понедельник в честь патриарха Пимена.

Раньше церкви даже по воскресеньям оставались полупустыми. Обычно приходили лишь старухи, дети.

Теперь меня поразил поистине массовый наплыв молодежи, да, по существу, людей всех возрастов. Похоже, что правительство не препятствует росту этой тяги к религии, а может быть, даже способствует ей.

Что касается встреч, — то я хотела бы начать с экскурсии по Москве-реке на теплоходе "Максим Горький". Поездку эту финансировал греческий корреспондент — судя по всему, человек очень богатый. Это была с большим шиком обставленная встреча на воде представителей московской элиты с иностранными корреспондентами. На пароходе работал рес-

торан, играл оркестр, рекой лилось шампанское, — словом, пир во время чумы.

Трудно было отрешиться от мысли, что все это проходило в стране, сотрясаемой экономическим кризисом, где люди и по сей день не имеют самого необходимого для нормальной жизни. Но и во время этого празднества многие из его участников — очень известные писатели, художники — не уставали говорить о возможных переменах, пили за эти перемены, вслух мечтали о них. Там я, в частности, познакомилась с Саввой Кулишом, директором Мосфильма. Позже он меня много возил по Москве, мы говорили о кино. Он, как и другие, высказывал надежду на то, что в советской кинематографии наступят перемены: жить станет лучше, жить станет веселее, — смеялся он, по-видимому, тому, что эту знаменитую фразу пока что приходится относить к будущему.

Вообще, круг моих встреч в Москве был весьма широк: академик Костомаров, виднейший специалист в области русского языка (с которым нас уже давно связывают общие профессиональные интересы), Иосиф Голдин, специалист в области космических исследований, знаменитая московская исцелительница Иона, лечившая Брежнева (меня привез к ней, на улицу Чайковского все тот же Савва Кулиш), уже упомянутый мной патриарх Пимен и, наконец, небезызвестный Виктор Луи, с которым я провела несколько часов на его подмосковной даче.

Я не буду касаться его официального и неофициального статуса, о котором много пишут на Западе, подчеркивая, что в своих статьях он часто выражает точку зрения правящих советских кругов. Я бы хотела лишь рассказать, какое впечатление произвел на меня этот человек. Так вот, на машине меня привезли на его подмосковную дачу, расположенную неподалеку от писательского поселка Переделкино. Думаю, что мало кто из писателей имеет дачу, подобную той, какой владеет Виктор Луи. На ее живописной территории мне прежде всего бросились в глаза большие статуи Эрнста Неизвестного, в гараже стояло несколько машин, одна из которых была Ролс-Ройс, в доме, построенном в современном стиле,

стояли компьютеры, была тут ценнейшая коллекция подлинных икон...

Надо сказать, что сам Виктор Луи, оказавшийся человеком лет пятидесяти, чрезвычайно скромно одетым (так что на нью-йоркской улице я бы вообще не обратила на него внимания), с первой же минуты старался держаться таким свойским парнем, с которым можно откровенно говорить буквально обо всем.

Я пробыла у него на даче несколько часов, и мы, действительно, затронули массу тем: Запад — Восток, еврейский вопрос, Сахаров, Елена Боннер, Неизвестный, Евтушенко, эмиграция... Держался он вроде бы просто, но вести с ним беседу было чрезвычайно трудно — в какой-то момент я почувствовала, что наш разговор подобен шахматной игре, где над каждым ходом надо ломать голову, чтобы не попасть впросак. Он часто задавал риторические вопросы — и делал это лишь затем, чтобы вовлечь меня в какую-то острую дискуссию, его не интересовал ответ как таковой, а скорее некая попутная информация, которую он, видимо, хотел получить. Безусловно, он очень умный человек, но сказать, что он умный или, скажем, хитрый, явно недостаточно. Пожалуй, дпя его характеристики лучше всего подходит английское слово "shrewd" — то есть человек чрезвычайно изощренный, ловкого и быстрого ума.

Вот он заговорил о Неизвестном, сказал, что давно с ним знаком, что это очень талантливый художник и что он был у него в Нью-Йорке. Потом стал сожалеть, что Неизвестный уехал на Запад, говорил, что в СССР ему было лучше. Казалось, что общие темы его мало интересуют, и на все вопросы у него здесь есть готовые ответы. Отношения СССР—США? Все зависит от Соединенных Штатов, от психологического климата в этой стране. Жизнь в Америке? Конечно, в чем-то, может быть, там рай, но не всем в этом раю хорошо. От политики Соединенных Штатов он неожиданно перешел к теме антисемитизма, что де из США раздаются нелепые обвинения советского правительства в антисемитизме. Тогда как совершенно очевидно, что в СССР никакого антисемитизма нет.

Вообще, еврейский вопрос был болевой точкой всех его высказываний. Свобода эмиграции? Но ведь евреи не хотят ехать в Израиль, а едут в Соединенные Штаты. Многим там плохо, и некоторые даже с удовольствием вернулись бы, но боятся.

Сахаров? О! С Сахаровым они довольно часто встречаются и через неделю он снова едет к нему. Сам Сахаров — хороший, спокойный человек, много работает, но все портит его жена — Елена Боннер, которая не устает скулить и жаловаться. Он не сказал: все это потому, что она еврейка. Но из контекста это не так уж трудно было понять.

В разгар нашей беседы он заговорил о себе и сообщил, что семь (или даже, кажется, тринадцать лет) провел в ГУЛАГе. Затем показал мне альбом. У него и на этот случай были интересные снимки. Потом без всякой связи с предыдущим сказал: "Ходят слухи, что я — еврей, но это неправда, по-моему, мои предки были французы". Похоже, что еврейская тема не давала ему покоя, и он сам не замечал, как сползал на антиеврейские разговоры. И тут я не могла смолчать, я сказала, что еврейский народ в течение двух тысяч лет подвергался гонениям и даже сейчас, когда у него появилась своя страна, свой клочок земли, его не оставляют в покое, ввергают в войны. Я сказала, что евреи дали миру трех самых великих людей двадцатого века — Эйнштейна, Фрейда и Маркса. Он согласился со мной. Но без особого энтузиазма, просто сказал: "Да, да, это верно!"

Я попросила Виктора Луи высказать свое мнение о Горбачеве. Он ответил, что это человек совершенно нового поколения, не имеющий ничего общего с Хрущевым и его предшественниками. Теперь я в свою очередь согласилась с ним, но заметила: неизвестно, как поведет себя новый лидер, не будет ли он более жестоким? Он смолчал. И вдруг совершенно неожиданно воскликнул: "А вы, между прочим, очень похожи на его жену! Так что если бы мы стояли у кремлевской стены и я брал бы у вас интервью — все решили бы, что я беру интервью у нее.".

Вообще же беседу он вел очень странно. Согласится с чем-то и тут же это отрицает. Так что понять его точку зрения было просто невозможно.

Мы заговорили о Евтушенко. Чувствовалось, что он очень симпатизирует Евтушенко, который в свою очередь настолько тепло относился к Виктору Луи, что в день его свадьбы посвятил ему специальное стихотворение.

Несколько раз в комнату входила жена Виктора Луи. Это была симпатичная англичанка, лет сорока. Она о чем-то спрашивала его, он отвечал. Большую часть времени мы провели у него в кабинете и говорили по-русски. С женой и сыном (кажется, лет двадцати, двадцати одного) он говорил по-английски. Его жена очень высоко отзывалась о Маргарет Тэтчер за то, что та позволила их сыну учиться в Оксфорде.

Обратно они отвозили меня вместе с женой в своем Ролс-Ройсе. В машине он болтал о всякой всячине, старался быть милым, обещал помочь в моей работе над новой книгой о Пушкине, тепло говорил о многих американцах. Чувствовалось, что ему очень хотелось запечатлеться в моей памяти все тем же свойским рубахой-парнем, каким он старался казаться с первой минуты и каким ему отнюдь не всегда удавалось быть в этот день.

Но не встречей с Виктором Луи мне хочется закончить эти заметки. Покидая СССР, я перебирала в памяти увиденное и спрашивала себя: действительно ли в эту страну приходят перемены или все это лишь плод моего страстного желания ее видеть другой. Мысль моя обращалась к будущему. Вот приеду я снова в Москву и снова выйду на улицу Горького из гостиницы "Интурист". Что за картина откроется мне? Как будут выглядеть и чувствовать себя люди? Я не думаю, что это будет другая страна и не надо себя тешить иллюзиями, что начнет она жить по западным образцам. У России собственная судьба. Но я думаю, что какой бы эта судьба ни была, русский народ имеет право на свободную и достойную жизнь. И я молю Бога, чтобы эта жизнь пришла в Россию и сбылись мечты моих многих друзей. И я искренне надеюсь, что Женевская конференция, откуда я только что вернулась, по-своему тут поможет.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Уважаемая редакция!

С большим интересом читаю ваш журнал. Возможно, что и вы проявите некоторый интерес к моей критике теории Владимира Лефевра. Исходные положения и выводы его теории настолько серьезны (разделенность человечества естественна и непреодолима), что ваше решение продолжить дискуссию представляется весьма разумным.

Моя критика, как и теория Лефевра, основана на логике, хотя и не в ее математической форме. Разница, однако, в том, что я отталкиваюсь от строго проверенных экспериментальных, статистических или документальных данных, а не от результатов опросов, как поступил Лефевр. Я привел убедительный пример (и мог бы привести больше), насколько ненадежными бывают такие результаты.

Помимо принципиальной важности, моя критика приоткрывает интереснейший мир современной психологии, которую я очень люблю и изучаю уже давно.

Хоть мы и живем в свободном мире со свободной прессой, я почти уверен, что вы не напечатаете мои заметки. Прошу вас все же в этом случае сообщить мне ваше мнение о них, а сам текст переслать В.Лефевру.

Хочу в конце напомнить вам высказывание А.Сахарова: "разделенность человечества угрожает ему гибелью". Надо ли усугублять эту разделенность?

Александр Фин
Торонто

ОТ РЕДАКЦИИ. Ниже вниманию читателей предлагается полный текст статьи Александра Фина.

Александр ФИН

ЕЩЕ РАЗ ОБ "АЛГЕБРЕ СОВЕСТИ"

Из теории В.Лефевра ("Время и мы", № 79), а также из статьи П.Болдырева (№82) вытекает заманчиво простое объяснение конфронтации сверхдержав. Источник глобального конфликта таится в абсолютной противоположности двух этических и, соответственно, политических систем: западной (христианской) и советской. В первой системе доминируют личности последовательно стремящиеся к компромиссам; во второй преобладают индивиды с отчетливой тенденцией к конфликтам. В несовместимости этических императивов автор усматривает "гигантскую трагедию человечества".

Слабость такого объяснения начинает проявляться как только мы зададим простой вопрос: а была ли западная культура бесконфликтной в досоветскую эпоху? Увы, вся более или менее известная нам часть истории человечества — это история войн, то есть разрешение конфронтации, причем огромное количество человеческих жертв вызвано войнами в рамках западной цивилизации.

Сью Мэнсфилд, американский военный историк, недавно отметила парадоксальный, с ее точки зрения факт: "христианская культура одновременно является более пацифистской в теории и более насильственной на практике, чем любая другая

существующая культура".* Феномен нацизма показал, что западная цивилизация способна порождать системы ничуть не лучшие в этическом смысле, чем советская, даже в ее сталинском варианте.

В.Лефевр мог бы возразить, что прошлое играет второстепенную роль, главное — объяснить современную ситуацию. Хотя хорошая теория должна удовлетворительно описывать как настоящие так и прошлые события (чтобы в итоге хоть приблизительно предсказать будущие), коснемся фактов послевоенного периода.

По теории Лефевра СССР в эти годы, если не все время, то, по крайней мере, чаще, чем США, стремился к конфликтам. По заданию Пентагона в 1976 году были проведены исследования конфликтов, в которые были вовлечены США или СССР. Определение конфликта было четким: любое использование вооруженных сил в политических целях за рубежом. Оказалось, что в 1945-1975 годах таких конфликтов по инициативе или с участием СССР произошло 115, а с участием или по инициативе США — 215.** Даже если допустить, что США применяют силу только в ответ на агрессивные ша¬ги противника, возникает вопрос: почему ответов на агрессию оыло почти вдвое больше, чем можно ожидать?***

Гораздо более логичной и объективной мне лично кажется теория Бремера.**** Бремер предположил, что стремление к конфликтам или агрессивность любого государства пропорциональна его "силе", или совокупному политическому, экономическому и военному потенциалу. Статистика войн девятнадцатого-двадцатого веков замечательно согласуется с этим простым допущением. Из теории вытекает, что агрессивность, как правило, слабо связана с той или иной моралью, религией или идеологией как таковыми. Парадокс, отмеченный С.Мэнсфилд, получает объяснение: жестокость войн в пределах западной цивилизации не связана с христианской этикой, просто страны Запада в экономическом и военном отношении были самыми развитыми, т.е. самыми агрессивными. Теория Бремера настолько точна, что отражает факт совокупного превосходства США над СССР после 1945 года (см.вышеприведенные данные о сравнительном количестве конфликтов) и даже могла бы предсказать рост агрессивности СССР в 70-х годах, когда это превосходство перестало быть значительным.

Эмпирические данные, собранные Лефевром, тоже заслуживают критики. Бывшим советским гражданам было предложено отвечать на вопросы так, как они бы отвечали на них, будучи гражданами СССР. Не всегда легко разобраться в чувствах и оценках, а тут к тому же надо было представлять, что за чувства преобладали несколько лет назад. И хотя, по мнению Лефевра, этические системы усваиваются людьми с детства и действуют в сознании автоматически, не был ли этот явно ненаучный прием излишним? Но как бы там ни было, представим себе, что этические нормы и оценки русских и американцев действительно резко отличаются. Как могла бы объяснить этот факт современная психология?

Еще в 1950 г. Теодор Адорно с сотрудниками подробно описали феномен так называемой "авторитарной личности".* Такая личность совмещает преклонение перед вышестоящими с презрением и недоверием к нижестоящим. Человек авторитарного типа обладает "черно-белым" восприятием мира и склонен разрешать любые проблемы — простые и сложные — с

---

* War as the Ultimate Therapy, - Psychology Today, June, 1982.

** Pious S., Zimbardo P. The Loojing Glass War, — Psyhology Today, November, 1984.

*** На наш взгляд, подобное исследование мало о чем говорит, ибо в нем ставится знак равенства, например, между советской агрессией в Чехословакию и мелкими пограничными инцидентами со стороны американцев (ред.).

**** Singer D., editor, Correlates of War: II, — The Free Press. New York, 1980

* Adorno T.,W. et al., — The Authoritarian Personality, New York, 1950.

помощью силы. Такой человек всегда полон отрицательных чувств — к интеллигентам, либералам, евреям, женщинам, неграм, гомосексуалистам, китайцам, иммигрантам. Он, как правило, сторонник крутых мер, репрессий и смертной казни. Как фашизм, так и сталинизм были воплощениями авторитарных идеалов, однако фашизм был разгромлен, а сталинизм мирно трансформировался в современный советский режим. Из этого можно сделать вывод, что вполне вероятно, что авторитарный тип мышления более распространен среди советских, чем среди американских граждан.

Если авторитарная личность изучена достаточно хорошо, то об ее антиподе — демократической, либеральной или интеллигентной личности мы знаем гораздо меньше. Даже общепринятого названия такой личности пока нет. Одно можно предположить: как минимум такая личность будет воздерживаться от причинения нравственного или физического вреда другим людям без провокации со стороны последних. Я намеренно избегаю формулировки христианского принципа терпимости к врагам и ограничиваюсь опять-таки христианским, но более легким "золотым правилом".

Согласно Лефевру, люди, удовлетворяющие столь скромному требованию, должны не то что доминировать, но абсолютно преобладать в Западном мире. На деле, однако, все обстоит не так. Шестьдесят два процента испытуемых, не задумываясь нажимали на кнопку, посылающую другому человеку удар тока от 15 до 450 вольт. Этот другой человек находился за стеной, но его стоны, крики и даже удары ногой в стену испытуемые прекрасно слышали, но это их не останавливало. (На самом деле, разумеется, все эти выражения боли были симулированы.) *

Упомянутый эксперимент Стэнли Милгрэма не является единственным в своем роде. Филипп Зимбардо тоже интересовался поведением людей в различных ситуациях; он тщательно подобрал 20 физически и психически здоровых интеллигентных молодых американцев и распределил их по закону случая в две группы: "заключенных" и "надзирателей". В подвале одного из зданий Стэнфордского университета была оборудована "тюрьма". Никаких особых инструкций "надзиратели" не получили, кроме общего указания поддерживать "закон и порядок". Неожиданно быстро надзиратели вошли в предписанную им роль; они начали издеваться над заключенными, проявляя при этом находчивость и изобретательность. Было очевидно, что они в полной мере наслаждались полученной на время властью. У половины заключенных развился настолько серьезный невроз, что эксперимент пришлось прервать раньше времени — на шестой день после его начала.*

Отметим, что в обоих экспериментах отсутствовал сколь-нибудь заметный конфликт между целью и средствами. Люди попросту вели себя ужасно — без малейшей угрозы наказания и без ожидания награды. Наличие любого из этих стимулов могло бы, скорее всего, только ухудшить наблюдаемое поведение.

Для тех, кто с недоверием относится к экспериментам, можно привести еще более впечатляющие примеры из живой жизни. В 1964 году Китти Джиновизе была убита рядом со своим домом в Кью Гарденс (Нью-Йорк). Поскольку Китти сопротивлялась, убийство длилось около получаса. Тридцать восемь соседей наблюдали за происходящим, но ни один не вмешался и даже не позвонил в полицию. Пример классический, но аналогичных немало.**

---

* Meyer P., If Hitler Asked You to Electrocute a Stranger, Would You? Probably, — Esquire, February, 1970

* Zimbardo P.G.. Pathology of Imprisonment, — Society. vol.9, N06, 1972.

Из неопубликованных данных, известно, что подобный эксперимент был проведен на факультете психологии ЛГУ. Результаты его совпали с американским экспериментом и его так же пришлось прекратить. Ленинградский эксперимент привел буквально в шоковое состояние экспериментаторов еще и потому, что один из его участников студент-"надсмотрщик", вошедший в роль, спустя несколько дней ужаснулся этой роли и подробно описал свое состояние в дневнике. Думается, что этот мальчик — исключение из общего правила. (Примеч. ред.).

** См: Darley J., Latane B., When will People Help in a Crisis, - Psychology Today, September 1968.

В отличие от экспериментов упомянутых выше, убийство Китти демонстрирует пример абсолютно аморального поведения: ведь хуже вести себя просто невозможно. Мы вряд ли преувеличим, сказав, что тридцать восемь соседей Китти были соучастниками ее убийства.

А как теория Лефевра описывает такое поведение? В "Алгебре совести" приводится подробная классификация индивидов, этических систем и типов поведения.* Тип личности мы можем определить без труда. Молчаливый свидетель убийства, уж конечно, не является "святым", "героем" или "лицемером"; остается только четвертый тип: "обыватель".

Однако в первой этической системе (западной) "обыватель" обязан быть "агрессивным и стремиться к конфликту с партнером", имея при этом в виду, что цель не оправдывает средства. Для тридцати восьми граждан Нью-Йорка почти точно подходит противоположное определение "обывателя": "неагрессивный, стремящийся к компромиссу с партнером; имеющий низкий уровень самоуважения"; считающий, что цель оправдывает средства. (В нашем случае целью является избежание риска для жизни и здоровья, а средством — невмешательство.) Именно такой "обыватель", по Лефевру, и есть типичный представитель второй (советской) этической системы, что еще раз подчеркивается автором в предисловии на странице XXIII. По мнению Лефевра, и на Западе, и в СССР присутствуют обе этические системы; речь идет только о том, какая из них доминирует. Но допустим даже, что первая система не доминирует, а просто присутствует на Западе и, по крайней мере, десять процентов граждан принадлежат к ней. Тогда, среднестатистически, среди тридцати восьми граждан должны были найтись три-четыре человека, если не вмешавшихся, то хотя бы известивших полицию. Не нашлось ни одного...

Как правило, мы абсолютно не сознаем, насколько мощным является влияние предписанных ролей и ситуационных

* Lefebvre V., Algebra of Conscience, D.Reidel, 1982, p.63.

факторов. В результате мы считаем себя гораздо лучше в моральном смысле, чем мы есть на самом деле. Эллиот Аронсон, известный американский психолог, потрясенный результатами С.Милгрэма, на протяжении многих лет задавал студентам, начинающим изучать курс социальной психологии, один и тот же вопрос: посылали бы они удар тока от 15 до 450 вольт по требованию экспериментатора, слыша вопли и протесты получающего этот удар тока? И ежегодно около 99-ти процентов студентов искренне и решительно отвечали "нет".* Помимо исключительной научной ценности, установленная закономерность предупреждает любого ученого, что к результатам опросов, особенно содержащих моральные оценки и самооценки, надо относиться очень осторожно.

Меньше всего мне хочется очернить западную цивилизацию. Одной из величайших ее ценностей, однако, является способность честно и объективно смотреть истине в глаза. А истина такова, что события, подобные убийству Китти, не исключение. Конечно, известны и другие примеры, когда вмешательство посторонних предотвращало насилие или убийство. Однако оба варианта возможны как на Западе, так и в СССР, и определяются факторами, не связанными с той или иной этической системой. Как показали исследования, вероятность того, что в толпе присутствует герой, пытающийся остановить преступника, тем больше, чем меньше город, где происходит событие. Физическая сила, агрессивность, опыт работы в полиции, армии или спортивные данные часто характеризуют личность героя.**

Значительные различия между западной и советской системами имеют свои исторические, культурные и идеологические причины. Но уже на глазах наших современников

* Aronson E , The Social Animal, W.H. Freeman, 1980, p.36.

** Rushton J.P., Urban Density and Altruism, — Psychological Reports, 43, 1978; Scheiber E., Bustander Intervention* in Situarions of Violence, — Psychological Reports, 45, 1979.

эти различия стали гораздо менее резкими, и это вполне естественно, так как в биологическом и психологическом плане все люди гораздо более сходны, чем различны.

Приведенные выше факты не подтверждают существование двух абсолютно противоположных этических систем. "Арифметика" истории, политики и конкретного поведения в экспериментальных и жизненных ситуациях противоречит предложенной Владимиром Лефевром "алгебре" этики.

Сентябрь 1985
Торонто

А.И.РУБИН
СТАТЬИ О РУССКИХ ПОЭТАХ.
Из философского дневника

Издательство "Лексикон". Иерусалим
180 стр. Цена — 5 дол. с пересылкой

Автор (1888-1961) был философом и большим знатоком русской литературы и поэзии. Поскольку его взгляды не совпадали с официальной советской идеологией, его работы не могли быть напечатаны в СССР.

В сборник включены статьи о поэзии Пушкина, Тютчева, Лермонтова и Баратынского, статья "Что такое философия" и отрывки из философского дневника.

Сборник открывается биографическим очерком об А.И.Рубине, написанном его сыном Виталием (1923-1981)

Заказы направлять по адресу:
J.Rubin. Gilo, 62-15 Jerusalem 03756. Israel

АНДРЕЮ СИНЯВСКОМУ — 60 ЛЕТ

Поздравляя Андрея Синявского, поздравляешь не только замечательного писателя, но и одного из самых светлых людей нашей эмиграции. То, что Синявский человек светлый, вероятно, не будут оспаривать даже его враги. Но мы в день его шестидесятилетия хотим о нем сказать прежде всего как о писателе, притом как о писателе ярком и необычном.

Да, Андрей Синявский — русский литератор и русский человек. Но примечательно то, что понимание свободы, своего писательского и человеческого долга лишено у него какой бы то ни было националистической окраски. И потому он, будучи русским писателем, принадлежит в то же время и мировой культуре с ее лучшими гуманистическими традициями.

Есть у писателя Синявского и второе имя — Абрам Терц. Терц — еврей и, стало быть, в каком-то смысле изгой. Он живет везде — и нигде, как и приличествует поэту. И шапочке академика часто предпочитает желтую кофту. Рукой Синявского Терц написал много книг: о Пушкине, о Гоголе, да и о самом Синявском. Книги неакадемические, насмешливые, порой эпатирующие. Но согласимся с тем, что появление каждой из них — это всегда событие. Оно волнует, будоражит мысль, враги Синявского-Терца хватаются за шпаги. Но нет у этих книг равнодушных. И это, наверное, то, что нам более всего нравится в них обоих — и в Синявском, и в Терце.

Мы приветствуем Андрея Синявского и желаем ему свершения всего задуманного. Мы желаем ему новых книг, волнующих читателя, Ведь читательское волнение — оно так важно для любого писателя. И Синявский всегда его находил, будучи автором нашего журнала, и всегда найдет его снова, когда выступит на наших страницах.

"ГОВОРЯТ ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ АМЕРИКИ"

С этого номера мы решили ввести в журнале новую рубрику "Говорят выдающиеся люди Америки". Под этой рубрикой редакция намерена предоставлять слово наиболее крупным американским писателям, ученым, политическим деятелям, которые будут высказывать свою точку зрения на наиболее острые, сложные и парадоксальные проблемы современности.

Первым дает нам интервью редактор журнала "Комментари" Норман Подгорец. Издаваемый Американским еврейским комитетом, "Комментари", которому исполняется в этом году сорок лет, стал одним из наиболее популярных и авторитетных журналов американской интеллигенции, а Норман Подгорец — один из самых выдающихся писателей и интеллектуалов сегодняшней Америки.

Тема его интервью "Евреи в современном мире" — охватывает широкий круг сложных и острых вопросов, связанных с ассимиляцией еврейства, с современными формами антисемитизма, с отношениями Израиля и американского еврейства, с проблемой двойной лояльности, с будущим евреев и т.д.

В этом же номере на вопросы журнала "Время и мы" отвечает выдающийся американский экономист, лауреат Нобелевской премии Мильтон Фридман. В своем интервью, озаглавленном "Правительства против свободного рынка", он развивает мысли, впервые высказанные им в книге "Капитализм и свобода". Ученый показывает, как правительственное регулирование экономической деятельности становится средоточием социализма во всех странах, как система централизованного планирования в тоталитарных государствах является главным тормозом развития экономики и политического раскрепощения народов этих стран.

Редакция уверена, что выступления на страницах журнала выдающихся людей Америки поднимет авторитет нашего демократического издания и вызовет к нему больший интерес как у западных читателей, так и у тех, кто живет по ту сторону железного занавеса.

Норман ПОДГОРЕЦ

ЕВРЕИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

"ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПРИТВОРИТЬСЯ, ЧТО ВЫ НЕ ЕВРЕЙ, ИЛИ ПЕРЕЙТИ В ДРУГУЮ ВЕРУ, ВАМ ВСЕ ВРЕМЯ ПРИДЕТСЯ ВЕСТИ БОРЬБУ СО СВОИМ ЕВРЕЙСТВОМ. СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО, НО ЭТО СВОЕГО РОДА ДУХОВНОЕ НАСИЛИЕ НАД САМИМ СОБОЙ", — СКАЗАЛ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА "КОММЕНТАРИ" НОРМАН ПОДГОРЕЦ В БЕСЕДЕ С ВИКТОРОМ ПЕРЕЛЬМАНОМ. НИЖЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЭТОЙ БЕСЕДЫ.

Виктор Перельман. Не кажется ли вам, что после появления государства Израиль экзистенциально судьба евреев мало изменилась к лучшему. Израиль выглядит как истощенное войнами и экономическими потрясениями маленькое государство. В диаспоре, правда, нет больше погромов. Зато бушует антиеврейский террор. К кому вы себя причисляете — к оптимистам или пессимистам? Считаете ли вы, что наступит все-таки день, когда евреи скажут: "Вот теперь нам во всех отношениях уютно на этой планете"?

Норман Подгорец. Нет, я не думаю, что когда-нибудь наступит день, когда евреи смогут сказать: "Нам на этой планете во всех отношениях уютно". Я полагаю, что такая уж у евреев судьба — жить неудобно и небезопасно. Не знаю, почему так происходит, но такой вывод подсказывает мне весь исторический опыт. В истории — и уж во всяком

случае за последние две тысячи лет — не было периода, когда евреи чувствовали бы себя в полной безопасности или достаточно удобно. Из всех еврейских общин в диаспоре безопаснее всего, пожалуй, ощущала себя американская община в 50-х годах, которые я назвал бы "золотым веком еврейской безопасности". Именно безопасности, а не культуры. Золотой век еврейской культуры был в средневековой Испании. Но этот "век" еврейской безопасности в Америке длился всего лет десять.

Я бы не сказал, что сейчас над американскими евреями нависла какая-то опасность. Но нет уже той атмосферы 50-х годов, когда евреи были окружены дружелюбием и приветливостью.

Виктор Перельман. А почему атмосфера в Соединенных Штатах в этом смысле изменилась?

Норман Подгорец. Это долгий разговор. Чтобы понять, почему был этот "золотой век еврейской безопасности", нужно принять во внимание воздействие Катастрофы, которая принесла американцам понимание того, что даже самые "учтивые" формы антисемитизма могут привести к убийству. На открытое выражение враждебности к евреям налагалось своего рода негласное табу, и это табу соблюдалось в общественной жизни.

В то же самое время в американском обществе наблюдалась тенденция к большей терпимости. Причем не только в отношении евреев, но и других меньшинств. От старой ассимиляторской концепции "плавильного котла" мы двигались в сторону нового плюрализма. Евреи были самым первым и самым заметным меньшинством, выигравшим от этой новой идеологии, при которой старое представление, что все группы должны сливаться в общую культуру, заменилось верой в то, что если они сохранят свое национальное или религиозное своеобразие, то обществу в целом это пойдет только на пользу.

Положение начало изменяться в 1967 году. Я уже тогда думал, что для некоторых израильская победа в Шестидневной войне в каком-то смысле должна стереть из памяти Катастрофу, что для этих людей на Катастрофу как бы истечет срок давности. В результате — находившийся под спудом антисемитизм, который, конечно, не исчез полностью, снова начал поднимать голову. Табу, которое я упомянул, мешало выражать его открыто, но он никуда не делся и стал вылезать с неожиданной стороны — слева, а не справа, откуда его ожидали, а также под личиной негритянского радикализма. Негры были еще более угнетенным меньшинством, и им позволялось говорить вещи и выказывать настроения, которые ни одной другой группе не спустили бы. Чувствовалось, как с этого черного хода — через левых, через негров — просачивается наружу и выходит на поверхность враждебность к евреям, которая прежде была как бы в подсознании. Все это, разумеется, усугублялось изменениями, происходившими в международных левых кругах. Я имею в виду их отношение к Израилю и к евреям вообще. Конечно, большую роль тут сыграла и советская пропаганда, но не только советская. Лезла наружу враждебность к Израилю, связанная с отношением левых всех стран, в том числе и Соединенных Штатов, к странам "третьего мира". Вот эти факторы, среди прочих, и способствовали изменению климата.

В конце 1960-х годов это изменение было незаметным, но потом оно углубилось. Так что, например, когда в 1967 году я впервые услышал, как израильтян сравнивают с нацистами, я был настолько ошеломлен, что не верил своим ушам, а пятнадцать лет спустя, во время Ливанской войны, это превратилось почти что в штамп. На такое сравнение можно было наткнуться даже в респектабельных изданиях.

Виктор Перельман. Не составляет труда заметить, что из года в год парадоксальным образом углубляется разрыв между Израилем и евреями диаспоры. В Израиле растет глухое раздражение из-за того, что, например, американские евреи не хотят туда переезжать, пытаясь откупиться деньгами. Евреи Америки, в свою очередь устали от того, что Израиль без конца преподносит им "сюрпризы". Им все труднее ответить на вопрос, кому они отдадут предпочтение в трудную минуту выбора, — Америке или Израилю? Кстати, это бремя двойной лояльности уже дало о себе знать в дни Ливанской войны. Какими в будущем вы видите отношения Израиля с диаспорой?

Норман Подгорец. Начнем с того, что великая ирония истории сионизма заключается в том, что создание еврейского государства не оправдало одну из трех важнейших надежд ранних сионистских мыслителей, а именно: что еврейское государство сделает существование евреев более безопасным. На самом деле так не произошло. Но два других обещания сионизма, очевидно, были выполнены. Это конечно, не то, что я сам ожидал в 1948 году, — тогда мне было всего восемнадцать лет, но у меня уже были кое-какие мысли по этому поводу. Если бы меня тогда попросили высказать мое мнение о будущем Израиля, я бы точно сказал, что еврейское государство сделает жизнь евреев более безопасной, но не вселит гордость в евреев диаспоры, не заставит их ходить с высоко поднятой головой — а именно в этом заключалось другое обещание сионистов. На деле же как раз эта надежда и сбылась: существование еврейского государства помогло евреям диаспоры выпрямить спину.

Однако создание еврейского государства не решило еврейского вопроса. Рухнули надежды и на ассимиляцию, в которой также видели путь к решению этого вопроса. Гитлер перечеркнул эти надежды.

Иными словами, если еврейский вопрос и имеет "решение", то мы его пока не нашли.

В вашем вопросе есть посылка, с которой я не согласен, то есть я не считаю, что разрыв между Израилем и евреями диаспоры все расширяется. Ничего подобного. Я бы сказал, что происходит прямо противоположное. Несколько лет назад американский социолог-еврей Натан Глезер заметил, что "Израиль — это религия американских евреев". И, насколько я могу судить, Израиль имеет громадное воздействие и на советских евреев, то есть на вторую крупнейшую еврейскую общину в мире. Есть основания полагать, что так обстоит дело в большинстве стран. И самое удивительное — что это относится даже к Франции. Удивительное — потому что двадцать лет назад французские евреи были куда большими сторонниками ассимиляции и противниками сионизма, чем евреи любой другой страны.

Я хочу подчеркнуть: евреи во всем мире, иногда даже к своему собственному изумлению, чувствуют себя лично причастными к судьбе Израиля. Не в качестве филантропов или членов семьи, которым положено заботиться о родственниках, а в каком-то личном плане; у них ощущение, что их собственное положение в странах, где они живут, зависит от безопасности Израиля. Это не совсем мистическое ощущение, но и вполне рациональным его назвать тоже нельзя, поскольку разумом его постичь невозможно.

Что касается двойной лояльности, то да, в Америке и, насколько я понимаю, в других странах сильно тревожились по поводу двойной лояльности. Во всяком случае до создания Израиля это вызывало большую тревогу, особенно среди немецких евреев, которые процветали и добились в Германии высокого положения. Ну, что я могу сказать? Что эта тревога, как и многие другие, оказалась преувеличенной. В 50-х годах, которые я окрестил "золотым веком", хотя и были кое-какие осложнения в дни Суэцкого кризиса, все исходили из посылки, что интересы Израиля и Америки в общем и целом совпадают. Поэтому для таких обвинений евреев было мало поводов. Да, проблема эта существует. Но оказалось, что она далеко не так серьезна, как некоторые себе представляли. В США антисемиты и люди, настроенные враждебно по отношению к Израилю, иногда пытаются раздуть эту проблему. Но в большинстве своем американцы интуитивно чувствуют, что поднимать этот вопрос неправомерно.

Я признаю, что если бы США и Израиль в какой-то момент оказались по разные стороны баррикады или, если угодно, в известном смысле в состоянии войны друг с другом, этот вопрос встал бы для евреев весьма остро. В принципе, американская история знает подобные ситуации. Возьмем для примера американцев немецкого происхождения, которые находились под большим подозрением и во время первой мировой войны, и во время второй. Японцев посадили в концентрационные лагеря в 1940-1941 годах, исходя из предположения, что они будут пятой колонной, шпионами. С ними поступили очень несправедливо.

Разумеется, в Советском Союзе дело обстоит совсем по-другому. Там двойная лояльность — не причина, а скорее, продукт антисемитизма. Ее всегда можно использовать на руку антисемитам, чтобы вызвать у окружающих подозрения и неприязнь в адрес евреев. Так что я рассматриваю ее не только как автономный, но и как вторичный фактор, которым, очевидно, можно пользоваться как барометром антисемитизма.

Виктор Перельман. Я хотел бы услышать ваше мнение о скандально-знаменитом эссе Артура Кестлера "Иуда на перепутье". Во-первых, потому что оно дискутировалось в "Джуиш Кроникл" во многом близкой к "Комментари", а во-вторых, из всех авторов, обсуждавших эту тему, Кестлер был наиболее последователен. По крайней мере, когда утверждал, что после образования Израиля — само существование еврейской диаспоры потеряло смысл, а многовековой еврейский девиз "Ба шана аба бе Иерушалайм" ("В будущем году в Иерусалиме") превратился в бессмысленное бормотание. Если евреи хотят избавить себя от антисемитизма, им предстоит сделать трудный выбор: либо переехать в Израиль, либо перестать быть евреями, то есть ассимилироваться. Эссе Кестлера вызвало бурю негодования в еврейском мире. Эмоционально я также не могу принять его идей. Но, если без ханжества и эмоций — был ли он так уж неправ? Что заставляет цепляться за свое еврейство, например, американских евреев? Многие ли из них владеют ивритом или связаны с еврейской религией и культурой? Что касается синагог, то в сравнении с израильскими, они напоминают что угодно, но только не молитвенные храмы. А раввины все чаще предстают в облике остроумных балагуров, развлекающих по шабатам членов своей общины. Итак, отвергнув Кестлера, евреи, сами того не замечая, идут по предложенному им пути, то есть перестают быть евреями. Не так ли?

Норман Подгорец. Прежде всего я хотел бы сделать поправку. "Джуиш кроникл" никогда не была близка с "Комментари".

Что касается Кестлера, то, если угодно, в его взглядах на еврейство да и на другие вопросы ощущалась склонность к наивному рационализму. Люди куда сложнее, чем он предполагает, рисуя картину мира, которая, конечно, будоражит мысль. Но евреи — довольно сложные люди. Они, как говорится в Библии, жестоковыйные, упрямые люди. И, с точки зрения строгого рационалиста, который не принимает эту сложность в расчет, евреи должны казаться ненормальными упрямцами: зачем это они хотят оставаться евреями в диаспоре, когда есть еврейское государство?

И в самом деле, зачем? Я думаю, по многим причинам — историческим, психологическим, социологическим и, возможно, даже связанным с верой и с мистикой, которых мы не в силах объяснить. Мы не в состоянии объяснить, если уж на то пошло, почему евреи вообще существуют. Ассирийцев давно нет, вавилонян давно нет, большинство великих народов древности исчезли с лица земли, а евреи все еще существуют. Я, по крайней мере, ни разу не встречал этому убедительного объяснения. Здесь какая-то мистика еврейской судьбы. Во всяком случае, мне это так представляется.

Так что, с моей точки зрения, тот факт, что не все евреи пожелали эмигрировать в Израиль и в то же время предпочли остаться евреями, — это объективная реальность, к которой нужно относиться нормально. Ее трудно объяснить, но она остается фактом, а не есть плод наших досужих рассуждений. Мы видим своими собственными глазами, что люди хотят в каком-то смысле оставаться евреями, хотят помогать еврейскому государству, принимают его судьбу близко к сердцу. Они приносят ему финансовые жертвы, а иногда и не только финансовые, но вот жить в нем не хотят. Такова реальность. Можно пытаться ее как-то объяснить, рассуждать о ней, но это реальность, которую Кестлер был неспособен предвидеть, поскольку там, где касалось евреев, воображение его было крайне ограничено. Он хорошо мог представить себе Рубашова и его допросы в советской тюрьме, но не будущее евреев.

Кестлер не мог представить себе положение, которое сложилось после 1948 года. Существуют очень жизнеспособные

еврейские общины, и Советский Союз является здесь самым впечатляющим примером. Речь идет о настоящем возрождении, которое, насколько я понимаю, было вдохновлено Израилем, притом в стране, где правительство намеренно проводило своего рода политику культурного геноцида. И тем не менее мы — свидетели всплеска еврейского самосознания даже в таких условиях. Причем процесс этот не остановился: учителей иврита бросают в тюрьмы, и все равно люди хотят оставаться евреями даже в Советском Союзе.

Вы спрашиваете меня, почему американские евреи так держатся за свое еврейство и насколько это серьезно. Да, серьезно. Только что вышла книга Чарльза Сильвермана, которая во многих отношениях не слишком хороша, и потому я не могу с энтузиазмом ее рекомендовать. Но он рисует жизнь американских евреев, которая полна религиозной и общественной активности, причем во всех уголках страны и во всех возрастных категориях, в том числе среди молодежи. Создается впечатление, что еврейская жизнь кипит. Во всяком случае, в ней нет и намека на увядание. Почему евреи желают оставаться евреями? Опять же — на этот вопрос мне ответить трудно. Может быть, лучше спросить: почему бы им не хотеть оставаться евреями?

Виктор Перельман. Ответьте, пожалуйста, что лично вас связывает с еврейством, помимо общих моральных соображений, по которым вы не можете себе позволить перестать быть тем, кем были ваши родители? Готовы ли вы более или менее конкретно сказать, от каких ценностей вам пришлось бы отречься, если бы вы перестали считать себя евреем, как это сделал Кестлер?

Норман Подгорец. Что меня лично связывает с еврейством? Когда-нибудь я напишу об этом книгу. Ответить на этот вопрос так, сходу, довольно сложно. Но скажу просто: для меня лично, как для отдельного человека, вопрос этот бессмысленен. Для меня представить себя не евреем — это то же самое, что представить себя человеком другого роста или не мужчиной. Это настолько во мне, что мне трудно вообразить себя кем-то другим. Я еврей, я американец, я мужчина,

у меня определенное телосложение. Все это не вопрос моего добровольного выбора, это мои неотъемлемые характеристики. Были моменты в моей жизни, когда это меня радовало больше, были — когда меньше. Но точно так же я бывал недоволен своим ростом или лицом...

Я еврей. Я знаю, конечно, что в каком-то смысле можно принять решение не быть евреем, хотя я нахожу, что люди, которые принимают такое решение, обычно более зациклены на еврействе, чем те, кто продолжают оставаться евреями. Ибо если вы решили притвориться, что вы не еврей, или перейти в другую веру, вам все время приходится вести внутреннюю борьбу со своим еврейством. В экзистенциальном смысле, я думаю, что когда вы пытаетесь отрицать такую неотъемлемую часть самого себя, вы живете в чудовищном напряжении. Сделать это можно, но это страшно тяжело, это чревато издержками, в каком-то смысле это безнравственно, и это своего рода духовное насилие над самим собой.

Виктор Перельман. Десять лет назад в первом номере журнала "Время и мы" редакция взяла интервью у израильского философа, раввина Штейнзальца, которого иногда называют самым умным евреем Израиля. Так вот, Штейнзальц сравнивает евреев с великими трагическими актерами, способными настолько уподобляться народам, среди которых они живут, что они становятся большими французами, чем сами французы, большими русскими, чем сами русские и т.д. У других народов складывается ощущение, что евреи не только берут их деньги, но изощренно похищают их душу и, таким образом, становятся их национальными поэтами, драматургами, художниками, а через некоторое время устами и мозгом их народа. Как, по-вашему, не в этом ли экзистенциальные корни антисемитизма? Но если в этом, то возможно ли от него избавиться?

Норман Подгорец, Это остроумная теория насчет корней антисемитизма. Может быть, что-то в ней есть. Никто не знает, в чем на самом деле заключаются корни антисемитизма и как от него излечить. Могут сказать, что антисемитизм заложен в душе христиан. Я часто сравнивал отношения

между христианством и иудаизмом с отношениями между коммунизмом и либерализмом, или между марксизмом и либерализмом, поскольку во всех этих случаях революционная идеология (в одном случае теология, а в другом — политическая идеология) утверждала, что не низвергает старую религию, а лишь выполняет ее заветы. Христианство утверждало, что является осуществлением иудаизма, когда в действительности оно представляло собою низвержение иудаизма. Точно так же марксизм утверждал, что является осуществлением истинного либерализма, хотя на деле он его низвергал. Всегда, когда есть революционная идеология, органически связанная со старой культурой, со старым миром, появляется плодородная почва для ненависти, ибо вы продолжаете зависеть от того, что ниспровергаете. Эта зависимость порождает ненависть.

Это одна из теорий, хотя, конечно, антисемитизм существовал в Древнем мире еще до появления христианства. В александрийской культуре было немало того, что на современный взгляд представляется антисемитизмом. Возможно, евреев ненавидели, потому что видели в них фанатиков: они ведь были в ту пору монотеистами. Следы этого видны даже значительно позднее у Тойнби. Так что, где бы евреи ни жили на протяжении всей истории, у них явно был талант возбуждать к себе ненависть, по той или иной причине. Антисемитизм порождался сепаратизмом: евреев клеймили за обособленность, за клановость. Антисемитизм порождался ассимиляторством, как это следует из теории Штейнзальца. Немецкие евреи стремились сделаться хорошими немцами. Мы знаем, к чему это привело. А когда евреи хотели оставаться в гетто, их также ненавидели за это. Их ненавидят за то, что они капиталисты, и их ненавидят за то, что они коммунисты. Они и революционеры, и контрреволюционеры. Так что в свете этого набора разношерстных и маловразумительных обвинений трудно выделить какую-то одну причину антисемитизма.

Виктор Перельман. Очень часто отмечают, что израильский сабра — это новый тип человека, которого отличает бескомплексность, прямота, физическая сила, умение во-

евать. Но не приходилось ли вам замечать, что не обошлось тут и без серьезных потерь: у сабр мы не находим еврейской гибкости ума, широты знаний, утонченности, самокритичности. То есть, как это ни парадоксально, не только в галуте, но и в Израиле евреи перестают быть евреями. Я цитирую Штейнзальца: "Эта нация по своему образу жизни, по способу мышления стала гораздо более нееврейской, чем, может быть, какая бы то ни было нееврейская нация". Согласны ли вы с такой точкой зрения?

Норман Подгорец. Я глубоко не согласен с этим утверждением Штейнзальца. Я не согласен, что Израиль сделался нееврейской страной, что израильтяне стали неевреями и что сам Израиль — это нееврейское государство. Полагаю, что произошло как раз противоположное, и вот почему. Я процитирую недавно умершего Гершона Шолома, которого большинство считает величайшим еврейским мыслителем нашего времени, он был крупнейшим авторитетом по кабале, хасидизму и т.п. Кроме того, это был человек очень широкой культуры и глубокого ума. Он родился в Германии и происходил из ассимилированной семьи. Когда Шолом в возрасте девятнадцати лет стал сионистом, отец выставил его из дома. У него был брат-коммунист, которого убили нацисты. Не за то, что он был евреем, а за то, что он был коммунистом. Шолом уехал в Палестину и ожидал, что там произойдет возрождение еврейской культуры, как предсказывали некоторые пророки сионизма. И вот несколько лет назад он сказал мне: "Чего я меньше всего ожидал, — это того, что в еврейском государстве самым блистательным институтом будет не университет, не литературная жизнь, а армия!"

Свои характеристики евреев Штейнзальц черпает из узкого галутного представления о них. Он забывает, что царь Давид тоже был евреем, но он был и воином. Иуда Маккавей тоже был евреем — и в то же время воином. Евреи не всегда были такими людьми, какими их представляет Штейнзальц.

Итак, Шолом не мог себе представить, что армия будет самым блистательным институтом еврейского государства, но он сказал: "Евреи — народ талантливый, а талант всегда

используется там, где он больше всего нужен. В наше время самая большая нужда была в армии, вот там он и был употреблен". Я думаю, что это очень важное соображение. Чтобы выжить, еврейскому государству пришлось научиться военному искусству. С моей точки зрения, для еврейского государства это самое важное искусство. Оно необходимо для евреев во всем мире. Потому что, я думаю, что если, не дай Бог, Израиль будет уничтожен, то исчезнут евреи и в других странах. Не знаю, почему это так, но евреи не переживут второй Катастрофы в нашем столетии. Создавая Израиль и овладевая этим искусством, необходимым для его выживания, евреи именно так реагировали на чудовищную травму, которую являла собой Катастрофа. Этим самым они как бы сказали: "Мы предпочитаем жить".

Нетрудно доказать теологически, что центральный принцип еврейской религии концентрируется именно на этом предпочтении. Этот выбор означал создание собственного государства, его защиту и овладение искусством воевать. Поступая таким образом, еврейский народ претворял в жизнь заветы иудаизма, конечно, инстинктивно, а не сознательно. Как сказал один еврейский теолог, существует 614-я заповедь, вытекающая из Освенцима и гласящая, что не следует дарить Гитлеру посмертных побед.

Виктор Перельман. В своем эссе "Иуда на перепутье" Кестлер вводит понятие "сверхкомпенсация". Смысл его в том, что только под бременем страданий, переживаемых евреями диаспоры, могли родиться такие гении, как Спиноза, Пруст, Кафка, Фрейд... Ну а как же Израиль, избавивший евреев от галутских страданий, способен ли он рождать еврейских гениев?

Норман Подгорец. Спиноза, Пруст — ну, я не очень уверен насчет Пруста, он был только наполовину еврей, — Кафка, Фрейд... Да, есть такое явление — гений диаспоры. Я, между прочим, заметил, что вы не упомянули здесь Маркса.

Может ли Израиль рождать еврейских гениев? Я отвечу на это так: Израиль рождает гениальную способность народа выживать в невероятно тяжелых условиях. Кроме того, гениальную способность сохранять цивилизованное, демократическое общество при осадном положении. Это не просто трудно. Это почти невозможно — ведь ни одно из государств стран "третьего мира" не оказалось в состоянии этого сделать. По-видимому, одна из причин, по которым Израиль так ненавидят в ООН, состоит в том, что в этом смысле он постоянно посрамляет страны "третьего мира".

Виктор Перельман. Последний мой вопрос связан с одним прогремевшим на весь мир эпизодом в истории вашего журнала. Я имею в виду случай, когда Голда Меир предъявила к журналу иск на три миллиона. Примечательно, что "Комментари" вышел из этой ситуации куда более достойно, чем другие масс-медиа, оказывавшиеся в подобном положении. Насколько я помню, Голда Меир взяла свой иск назад. Может быть, вы скажете несколько слов об этой долетевшей даже до Москвы истории?

Норман Подгорец. Да, мы напечатали статью Льва Наврозова, которая не имела отношения к Израилю или к Голде Меир, а скорее, к западной наивности перед лицом тоталитаризма. В ней говорилось, что демократическим народам Запада трудно или даже невозможно понять истинную природу тоталитаризма. Даже такие серьезные политики Запада, писал он, как Черчилль и Голда Меир, которые вообще не были людьми наивными, становились наивными, когда дело касалось Советского Союза. В качестве примера он привел Голду Меир, когда она была послом... Нет, это было еще до создания Израиля. Так вот, Голда Меир, по просьбе Сталина, передала ему список евреев, готовых сражаться за независимость Израиля. Все они были арестованы и казнены. Собственно, в статье непосредственно Голды Меир касались два-три предложения. Но через несколько месяцев я получил письмо, в котором Голда Меир утверждала, что все это ложь. Я справился у Льва Наврозова о точности его данных, и он снова подтвердил их и сказал, что может доказать факты, изложенные в статье, документами, что готов поехать в Израиль и их разыскать, а также найти свидетелей. Мы поддержали своего автора и отказались публиковать опроверже-

ние, но я предложил Голде Меир напечатать ее письмо, в котором бы излагалась ее позиция. Голда Меир от этого предложения отказалась, настаивая на извинении и признании, что статья Наврозова содержит неверные утверждения. Мы на это не пошли.

Вся эта история тянулась довольно долго. Иск Голды Меир на три миллиона долларов действительно существовал. Миллион — против меня, миллион — против Наврозова и миллион против Американского еврейского комитета. Американский еврейский комитет является владельцем "Комментари", но не контролирует журнал. С точки зрения редакционной политики "Комментари" пользуется независимостью.

Улажено дело было таким образом: после долгих переговоров я согласился напечатать заявление Американского еврейского комитета, в котором говорилось, что он готов признать, что заявление Голды Меир имеет некоторые основания, хотя в то же время Комитет не открещивался и от "Комментари". Голда Меир это приняла. Сам же вопрос так и остался неразрешенным. Я никогда не видел неопровержимых доказательств ни правоты Льва Наврозова, ни его неправоты.

Виктор Перельман. Что бы вы хотели пожелать нашим читателям и прежде всего тем, кто находятся в России?

Норман Подгорец. Это деликатный вопрос. Я желаю им дожить до того дня, когда исчезнет коммунизм, как в Советском Союзе, так и в других странах. Вот чего я им желаю. Пожелание это крайне утопично. С другой стороны, некоторые считают, что единственная империя в истории, которая просуществует вечно, — это Советский Союз. Но я както не вижу, почему это должно быть так. Все великие империи в истории — ассирийцы, вавилоняне, греки, римляне, англичане, французы — все великие империи рано или поздно прекратили свое существование.

Виктор Перельман. Пользуясь случаем, я хотел бы от имени наших читателей по обе стороны железного занавеса поздравить "Комментари" с его сорокалетием, а вас — с 25-летием редакторской деятельности. Мне приятно также поблагодарить вас от имени наших читателей за эту беседу.

Мильтон ФРИДМАН

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ СВОБОДНОГО РЫНКА

"СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА ТАК НЕЭФФЕКТИВНА, ЧТО СТОИТ ТАМ ВВЕСТИ РЫНОЧНУЮ СИСТЕМУ, КАК БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ БУДУТ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, НЕ СЧИТАЯ НОМЕНКЛАТУРЫ", — СКАЗАЛ ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИЛЬТОН ФРИДМАН, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ". НИЖЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ С МИЛЬТОНОМ ФРИДМАНОМ.

Вопрос. Уже после того как вышла ваша блестящая книга "Капитализм и свобода", в странах с тоталитарными режимами произошли определенные изменения. Не могли бы вы сказать, насколько эти изменения способны расшатать экономическую структуру этих стран? Циркулируют слухи о том, что новое поколение кремлевских руководителей намерено пойти на далеко идущие перемены. Говорят, например о возврате к нэпу...

Ответ. Я не думаю, чтобы свободный рынок мог сделаться господствующей формой экономической организации этих стран, ибо это подорвало бы политическую власть правящих группировок. Но нет ни малейшего сомнения в том, что элементы свободного рынка могут быть использованы правящими классами для достижения каких-то ограниченных целей. Нечто подобное как раз и происходит в ряде коммунистических стран. В самой России на выделяемых колхоз-

никам приусадебных участках производится около трети продовольствия страны. Эти участки, насколько я понимаю, занимают всего три процента земли. Кстати, это очень интересный пример. Власти предержащие, вне всякого сомнения, понимают, что если они расширят свободный рынок в сельском хозяйстве, то положение с продуктами улучшится. Почему же они этого не делают? Совсем не из невежества — люди там сидят осведомленные. Просто они заключили, что перспектива потери политической власти для них важнее, чем увеличение производства продуктов.

Правящие круги Китая рассудили по-другому и добились в сельском хозяйстве огромных успехов. Они говорят об аналогичных намерениях в области промышленности, однако здесь достигнуты куда меньшие успехи, и вряд ли их можно ждать в будущем.

Я был в красном Китае четыре года назад, когда этот процесс только начинался. Мне было очень интересно побывать на разных промышленных предприятиях. На каждом из них я спрашивал: "Вы знаете об этом новом подходе?" — "О, да!" — "А как он на вас отразился?" — "Нет, на нас он еще никак не отразился".

С тех пор этот процесс пошел дальше, но все равно: самые ощутимые результаты достигнуты в сельском хозяйстве.

Чем сельское хозяйство отличается в этом смысле от промышленности? Во-первых, я думаю, что в Китае сельское хозяйство было лучше приспособлено к таким вещам. Контроль над ним был менее централизован и раньше. Более того, система, которая вводится у них в сельском хозяйстве, в большой степени соответствует их традиционному, историческому укладу. В общем-то ничего нового в этой системе нет.

Что касается России, то ведь нэп был введен там в начале 20-х годов не из желания ввести капиталистические методы, а от отчаяния. И, как вы знаете, власти его отменили, как только почувствовали, что могут от него избавиться.

Другой интересный пример представляет собой Югославия. Она пошла дальше, чем Китай или Россия, однако отнюдь не так далеко, чтобы можно было ее назвать страной свободного рынка. А далеко она смогла пойти, с моей точки зрения, по

той причине, что входящие в ее состав региональные группы оказались весьма сильны. Югославия — это конгломерат республик. То же самое относится и к России, но там русский компонент куда более важен, чем сербский — в Югославии. Именно конфликты между республиками и позволили укорениться рыночным отношениям в Югославии.

Вопрос. Предположим, что советское правительство решило ввести свободно-рыночную экономику. Не может ли это привести ко всяким нежелательным пертурбациям? Стоит ли игра свеч?

Ответ. Да не будет никаких пертурбаций. Будут одни преимущества, поскольку советская экономика так неэффективна, что стоит вам ввести рыночную систему, как буквально через месяц практически все будут жить лучше. Не считая номенклатуры.

Вопрос. Но там тысячи крупных заводов, фабрик. Как передать их частному сектору? Продать самым богатым спекулянтам?

Ответ. Ну, перевести их в частный сектор как раз совсем несложно. Вы просто передаете их народу.

Вопрос. Как именно, кому?

Ответ. Я подробно писал об этом в отношении других стран. Вот что надо будет сделать: вы создаете множество взаимных фондов, каждый из которых получает в собственность какие-то предприятия, принадлежащие сейчас правительству. Затем каждый взаимный фонд выпускает акции, и вы выдаете каждому гражданину страны по акции из каждого фонда. Потом создаете фондовую биржу, на которой эти акции могут продаваться и покупаться. В такой стране, как Россия, продавать предприятия некому.

Когда я обсуждаю эту тему с социалистами, я всегда спрашиваю: "Кому принадлежат государственные предприятия?" Они отвечают: "Народу". Тогда я говорю: "Так отдайте их народу". С моей точки зрения, именно это надо было сделать Маргарет Тэтчер вместо того, чтобы идти по более трудному пути, который она избрала. Один такой эксперимент имел место. Это было в Британской Колумбии, в которой был соз-

дан так называемый БРИК (Бритиш ресорсес инвестмент корпорейшен). Правительству Британской Колумбии принадлежало много полезных ископаемых, я не помню, каких точно: нефть, шахты и т.п. Оно объединило их, передало в собственность созданной для этого компании, предоставив каждому гражданину Британской Колумбии по несколько акций этой компании. Именно так можно будет избавиться от государственных предприятий.

Пертурбации будут в том, что те, кто стоит у власти, ее потеряют. Вы спрашиваете, стоит ли игра свеч? Вопрос, извините, несуразный. Ведь до 1914 года Россия была одним из крупнейших экспортеров пшеницы. Сейчас она пшеницу ввозит. Стоит ли сделать так, чтобы Россия снова сделалась экспортером? Вот к чему я веду: сегодня уровень производства в России составляет малую долю ее потенциальных возможностей. И потенциал этот можно реализовать лишь посредством рыночной системы хозяйствования. Вы спрашиваете: стоит ли вводить систему, благодаря которой средний доход русского народа возрастет в десять раз? И это только с экономической точки зрения, не говоря о преимуществах, которые принесет свобода мысли, свобода слова, вероисповедания. Но, конечно же, нереалистично ожидать, что советское правительство будет вводить рыночную систему.

В о п р о с . Разрешите теперь коснуться экономики Израиля. Прежде всего приложимы ли ваши концепции к многоукладной израильской экономике? В свое время, как известно, вы консультировали израильское правительство и предложили ему ряд рекомендаций. В какой степени оно следовало им? Что бы лично вы предприняли, если бы были израильским министром финансов, для того чтобы вывести страну из экономического тупика?

О т в е т . Разумеется, эти концепции приложимы и к Израилю. И вообще, если говорить об экономических законах и принципах, то они в равной мере применимы и к Советскому Союзу, и к Соединенным Штатам, и к Израилю. Конкретные условия, в которых вы их применяете, могут быть разными, но принципы остаются те же. В 1977 году я проговорил с членами израильского правительства три дня. Однако была принята лишь одна из моих рекомендаций: отмена контроля над валютными операциями и предоставление свободы рынку обмена.

Но не была принята ни одна другая рекомендация. Даже наоборот. Главной моей рекомендацией, разумеется, всегда было сокращение правительственных расходов. Без этого ничего сделать нельзя. Надо сократить, во-первых, государственные расходы, и, во-вторых, вмешательство правительства во все сферы экономики. Рекомендация, которую я поставил во главу угла, состояла в отмене государственных субсидий промышленности в виде так называемых займов, которые предоставлялись под процент, не привязанный к инфляции, то есть по сути дела под отрицательный процент. Этого как раз и не сделали.

Помнится, я провел целое утро с группой лиц, среди которых был руководитель Гистадрута, глава организации владельцев банков, руководитель союза фермеров и глава ассоциации промышленников, то есть руководители разных "групп давления". Я начат эту встречу с заявления, что "позиция собравшихся в этой комнате является главным препятствием на пути разумной экономической политики Израиля". И, действительно: фермеры не имели ничего против свободного рынка в промышленности — но не в сельском хозяйстве. То же относилось и к Гистадруту, промышленникам, владельцам банков. Это заявление, к несчастью, оказалось справедливым. В тот момент открывались широкие возможности. К власти пришло новое правительство. Тогда, если бы проявить решительность, можно было бы взять совершенно новый курс в экономике. Но этого не сделали. У Бегина не было к экономике ни малейшего интереса. Я проговорил с ним довольно долго, и как личность он произвел на меня большое впечатление. Но можно быть великим человеком и очень скверным экономистом. Тут моим излюбленным примером является Черчилль. Всякий раз, когда он касался экономических вопросов, он принимал неверные решения. Хотя, конечно, он был великим человеком.

Что касается Израиля, то, разумеется, я не несу никакой ответственности за то, что там произошло. Кстати, у меня не было никаких разногласий с израильскими экономистами. Я не высказывал какую-то крамольную точку зрения. Любой экономист в Израиле скажет вам то же самое: проблему невозможно решить без резкого сокращения правительственных расходов и уменьшения правительственного контроля над экономикой. Ведь положение в Израиле из ряда вон выходящее: совокупные правительственные расходы примерно равны валовому национальному продукту. Это неслыханная ситуация. Я не знаю в мире ни одного другого правительства, при котором это было бы возможным. Если взять Швецию, которая среди западных стран в этом смысле являет собой крайний случай, — там общие правительственные расходы составляют примерно шестьдесят процентов валового национального продукта.

Израильское правительство относит это обстоятельство на счет военных расходов. Но это чепуха, потому что, когда вы исчисляете бремя военных расходов, вам следует вычесть ту их долю, которая финансируется из-за границы. Так вот, если отнять оборонные расходы, которые оплачиваются правительством Соединенных Штатов, то остаток, лежащий на плечах израильской экономики, составит где-то пятнадцать процентов национального дохода. Это высокий показатель: у нас, в США он примерно в два раза ниже, — процентов семь. Но и в Израиле он не превышает пределов разумного, и на него нельзя списать остальные правительственные расходы и неумение их сократить. Поэтому если спросить, что же нужно сделать, то ответ простой: прежде всего — резко сократить правительственные расходы.

Почему в Израиле этого не делают? По той же причине, по которой не сокращает государственных расходов Конгресс США. Те же группы давления: промышленники совсем не против сократить расходы на сельское хозяйство, фермеры отнюдь не возражают против сокращения ассигнований на промышленность, все готовы сократить расходы за чужой счет. Притом одной из самых крупных групп давления является сама бюрократия, правительственный аппарат.

В Израиле создано правительство национального единства, которое как будто должно было решить экономические проблемы. Первое, что оно сделало, — создало дополнительные министерства, чтобы пристроить всех видных политиков, в том числе из вошедших в коалицию мелких партий. Теперь, насколько я понимаю, в Израиле больше министерств, чем раньше. Каждое из них рассматривает правительственные расходы как своего рода спецфонд, из которого можно покупать себе голоса избирателей.

С моей точки зрения, проблема не будет решена, пока не наступит настоящий кризис. Создается впечатление, что кризис имеет место уже сейчас, но это еще цветочки. Настоящий кризис наступит тогда, когда начнется гиперинфляция типа той, что началась в Германии после первой мировой войны.

В своем классическом исследовании по этому поводу Фил Кейген подсчитал, что гиперинфляция началась, когда цены стали расти более чем на пятьдесят процентов в месяц. То есть речь идет где-то о двух тысячах процентов в год. Но точные цифры не играют никакой роли. Важно то, что вы оказываетесь во взрывоопасной ситуации, которая выходит из-под вашей власти.

Вообще, довольно любопытно, что произойдет в данном случае. В отличие от Германии и всех других стран (за исключением, возможно, Боливии), переживших настоящую гиперинфляцию, в Израиле существует целая система индексирования, которая в немалой степени нейтрализует действие инфляции. Именно поэтому страна пока могла позволить себе такую высокую инфляцию и при этом не развалилась. Надо сказать, что у нас слишком мало эмпирических данных, чтобы судить, как там будут развиваться события. В каком-то смысле это уникальная ситуация.

В прошлом гиперинфляция наступала всегда в странах, проигравших войну, с нестабильным, слабым правительством, неспособным обеспечить налогообложение. Здесь мы впервые имеем дело со страной, которая не проиграла войну, не ведет активных военных действий, правительство которой было избрано демократическим путем и, судя по всему, об-

ладает всей полнотой власти. И тем не менее она явно катится к гиперинфляции. А с другой стороны, как я уже говорил, там создана единственная в своем роде система индексирования того или иного сорта, которая позволяет людям существовать, несмотря на столь высокую инфляцию.

Как ученому мне очень интересно знать, чем там все кончится. Но как сторонник Израиля я вне себя от полного нежелания его правительства пойти на необходимые меры. В конечном итоге экономические проблемы, стоящие перед Израилем, могут оказаться куда серьезнее, чем проблемы военные.

В первый раз я был в Израиле более двадцати лет назад, в начале 60-х годов. Я провел там три месяца и вынес впечатление, что в Израиле противоборствуют две традиции. Одна — это столетняя традиция социал-демократии, социализма, централизованного планирования, коллективизма. Другая — двухтысячелетняя традиция обхода правительственных ограничений экономической деятельности в диаспоре. И я сказал тогда: "К счастью, старая традиция оказалась сильнее новой". Однако теперь это уже не так.

И тот факт, что новая традиция сделалась сильнее старой, привел, с моей точки зрения, к тому, что там теперь происходит. Как вы знаете, я специалист по деньгам и банковской системе. Ни в одной другой стране мира нет такой сложной системы государственного регулирования и повторного регулирования банковской деятельности, как в Израиле. Евреи — умный народ, у евреев тысячелетний опыт ведения финансовых дел, и тамошние банкиры поэтому очень ловко умеют обходить правительственные правила, а чиновники так же ловко умеют вводить новые правила, чтобы восстановить равновесие. Конечным результатом всего этого является чудовищно сложная структура.

Так или иначе, в данный момент я отношусь к ситуации в Израиле весьма пессимистически.

В о п р о с . В своей книге "Капитализм и свобода" вы говорите о двух принципиально отличных экономических моделях: капиталистической и социалистической. Однако, не находите ли вы у крупных сверхмонополий, например, в фармацевтической промышленности, черты социалистических предприятий: огромный бюрократический аппарат, снижение роли (а иногда и сведение на нет) свободной конкуренции, усиление контроля над ценами. Иными словами, не назревают ли в рамках самого капитализма тенденции, отрицающие его принципы?

О т в е т . Разумеется, любое общество представляет собой смесь капиталистических и социалистических элементов, однако я не думаю, чтобы транснациональную корпорацию можно было считать средоточием социалистических элементов. Разве лишь постольку, поскольку она защищена своим правительством. Настоящие транснациональные корпорации достигают огромного размера, у них есть своя бюрократия, но это не значит, что они свободны от конкуренции. Средоточием социализма во всех странах следует считать правительственное регулирование экономической деятельности. Например, вы упомянули фармацевтические компании. Их способность контролировать цены на патентованные лекарства проистекает из двух источников. И одним из них является Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Эф-ди-эй), которое по сути дела ограждает существующие лекарства от конкуренции. Процедура получения лицензии на новые лекарства является чрезвычайно дорогостоящей и отнимает массу времени. Если бы не существовало Эф-ди-эй, эти компании контролировали бы рынок куда меньше. Но Эф-ди-эй создано не свободным рынком, а правительством. Поэтому если я говорю, что каждое общество представляет собой указанную смесь, то это происходит не из-за транснациональных корпораций.

Но что касается вашей последней фразы: "Не порождает ли капитализм тенденции, враждебные его собственным принципам?" — то, конечно, порождает. Я всегда утверждал, что двумя главнейшими врагами свободного рынка являются, с одной стороны, бизнесмены, а с другой — мои собратья — интеллектуалы. Причем по противоположным причинам. Всякий бизнесмен ратует за свободный рынок для других. Сам

же он хочет для себя каких-то льгот от правительства. Всякий интеллектуал ратует за свободу для себя самого, но хочет, чтобы существовал контроль над остальными. Поэтому я, разумеется, согласен, что капитализм порождает тенденции, враждебные его собственным принципам.

Вы употребляете слово "капитализм". Мне кажется, что это неверный термин, лучше сказать "свободное общество". Ведь Россия — это в каком-то смысле тоже капиталистическая страна, только там государственный капитализм. Если вы пользуетесь словом "капитализм", то лучше говорить "капитализм, основанный на конкуренции", или "свободнорыночный капитализм". Любое общество использует капитализм, власть принадлежит тем, кто этот капитал контролирует. Но мне часто приходила мысль, что свободное общество находится в состоянии неустойчивого равновесия. Как показывает история, свободных обществ была горстка, и существовали они всегда очень недолго. А из этого следует, что свободное общество может выжить лишь в каких-то весьма особых обстоятельствах.

В о п р о с . В своем время Макс Вебер писал, что зарождение капитализма исторически связано с протестантской этикой. Не кажется ли вам, что последнее десятилетие отмечено упадком духа капитализма? Что, осуществляя принципы свободного обмена и стремясь получить большие доходы (что само по себе естественно), люди забывают о нравственных нормах — верности слову, честности, преданности идее бизнеса. Не в этом ли, в частности, причина снижения качества американских изделий и особенно уровня американского сервиса?

О т в е т . Конечно, я согласен, что, проводя в жизнь принцип свободного обмена товаров, люди склонны забывать некоторые нормы этического поведения, однако я замечу, что то же самое происходит, когда в жизнь проводятся принципы социализма. В этом вопросе вы всего-навсего говорите о несовершенстве человеческой природы. Реальная общественная проблема состоит не в том, как устроить, чтобы хорошие люди творили добро, а в том, чтобы обыкновенные люди приносили как можно меньше вреда. Величайшее достоинство основанного на свободном рынке капитализма состоит в его способности обуздывать эти тенденции в человеке, поскольку при свободнорыночном капитализме интересы потребителя защищают не те люди, у которых он что-то покупает, а те, кто конкурируют с людьми, у которых он что-то покупает, тогда как при социалистическом способе хозяйствования конкуренция отменена вообще. Самое главное — это конкуренция, способность одних людей свободно совершать деловые операции с другими.

В о п р о с . Недавно Вашингтонский КАТО-институт выпустил на русском языке книгу: "Фридман и Хайек о свободе". Насколько мы знаем, КАТО планирует издать серию таких книг специально для читателей в СССР и странах Восточного блока. Что бы вы могли сказать об этой инициативе?

О т в е т . Естественно, я считаю, что доносить западную мысль до читателей в Восточном блоке — это превосходная затея, которая заслуживает всяческой поддержки.

Интервью вели Виктор Перельман и Владимир Козловский

Лев ТРОЦКИЙ

ПОЧЕМУ ОНИ КАЯЛИСЬ

Отрывки из книги "Преступления Сталина"
Публикация Юрия Фельштинского

Предлагаемые отрывки книги "Преступления Сталина" были написаны Троцким в течение 1937 года. Тогда же книга была издана на основных европейских языках, но на русском так никогда и не была опубликована. Сам Троцкий в августе 1940 г. был убит агентом ГПУ; и эта смерть, последовавшая вскоре после окончания московских процессов, стала своеобразным эпилогом к проведенным Сталиным партийным чисткам.

С тех пор прошло 45 лет. Книга потеряла былую политическую остроту и стала историческим документом, написанным рукой "репрессированного" Сталиным большевика. Можно считать ее ответом на обвинения, выдвинутые на московских процессах против Троцкого. Каким же предстает перед нами в этой речи, произнесенной за три года до смерти, Троцкий? Пройдя через высылку, гибель детей и друзей, отречение от "троцкизма" своих единомышленников и засвидетельствовав начало уничтожения всей "ленинской гвардии", Троцкий не только не разочаровывается в своих (коммунистических) идеалах, но умудряется сохранить уверенность в том, что не сделал в своей жизни ни одной ошибки. Троцкий не чувствовал себя и ответственным за происходящее в СССР, виня во всем "сталинскую бюрократию". Между тем роль Троцкого в укреплении коммунистического режима в СССР была сравнима только с ролью Ленина. И даже карательная система, используемая Сталиным во время московских процессов, была сооружена еще при жизни Ленина и при активном участии Троцкого.

Русская революция не знала более блистательного революционера и более слабого тактика: с октября 1917 г. на внутрипартийном фронте Троцкий не одержал ни одной победы. Он не смог переиграть созданной им же самим системы, и отдал ей на погибель себя, свою семью и всех "ленинских гвардейцев".

Революция пожирала своих детей. Одним из них был Троцкий. Когда-то второй в государстве человек, он метался, как загнанный зверь, спасаясь от им же созданной системы, теперь не контролируемой никем, даже Сталиным. Уже многие годы ощущение полного бессилия не покидало Троцкого. Он писал бесконечные статьи, публикуя их в социалистической, а иногда и в "буржуазной" прессе, но они встречали сочувствие лишь горстки его последователей, и только. Эмиграция не принесла ему освобождения. В алма-атинской ссылке он, по крайней мере, не опасался за свою жизнь. В эмиграции же он каждый день ожидал покушений.

Запад принял его холодно, даже враждебно. Самые гуманные принципы западных демократий отступали перед творимым Троцким злом: подрывной коммунистической деятельностью, направленной на уничтожение того самого западного общества, у которого он надеялся получить политическое убежище. И Троцкий, даже из тактических соображений не соглашаясь умолчать об основной своей цели — мировой

коммунистической революции, — совершенно искренне не мог понять, почему отказывается Запад разрешить ему беспрепятственно проживать в Европе и заниматься организацией новой коммунистической революции. Даже высылка в Мексику Троцкого не образумила. Он томился в Койоакане, как в заточении, в полном отрыве от реальности, и погиб в результате очередного покушения, оказавшегося, наконец, удачным. Его блистательная победа 1917 года обернулась поражением.

Он умер тем, кем он был всегда — революционером, не считающимся с действительностью, и прежде всего — с самой простой истиной, — что людям естественно желание жить и любить, а не умирать и ненавидеть.

Юрий Фельштинский

ПРЕДИСЛОВИЕ

В период своего подъема революция могла быть грубой и жестокой, но она была правдива. Она открыто говорила то, что думала. Политика Сталина лжива насквозь. В этом выражается ее реакционный характер. Реакция вообще лжива, ибо вынуждена скрывать свои действительные цели от народа. Реакция на фундаменте пролетарской революции лжива вдвойне. Можно сказать без всякого преувеличения, что термидорианский режим Сталина является самым лживым режимом в мировой истории. Вот уже в течение четырнадцати лет автору этих строк суждено служить главной мишенью термидорианской лжи.

До конца 1933 года московская пресса, а следовательно, и ее тень — пресса Коминтерна — изображала меня британским и американским агентом и даже именовала меня "мистер Троцкий". В "Правде" от 8 марта 1929 года целая страница посвящена доказательству того, что я являюсь союзником британского империализма (тогда он еще не назывался в

Москве "британской демократией"), причем устанавливалась моя полная солидарность с Уинстоном Черчиллем. Статья заканчивалась словами: "Ясно, за что платит ему буржуазия десятки тысяч долларов!" Дело шло тогда о долларах, не о марках.

2 июля 1931 года та же "Правда" при помощи грубо подделанных факсимиле, о которых она сама поспешила забыть на следующий день, объявляла меня союзником Пилсудского и защитником насильнического версальского мира. В те дни Сталин боролся не за статус кво, а за "национальное освобождение" Германии. В августе 1931 года "теоретический" орган французской компартии "Кайе дю Большевизм" обличал "трогательный единый фронт", который установился "между Блюмом, Полем Бонкуром и французским генеральным штабом, с одной стороны, и Троцким — с другой". Я оставался, таким образом, крепко привязан к странам Антанты!

24 июля 1933 года, то есть после окончательного воцарения Гитлера в Германии, я въехал через Марсель во Францию благодаря визе, полученной мною от правительства Деладье. Согласно ретроспективным "разоблачениям" недавних московских процессов, я был уже в те дни агентом Германии и занимался подготовкой мировой войны с целью разгрома СССР и Франции. На процессе Радека—Пятакова, в январе 1937 года, было, в частности, "установлено", что как раз в конце июля 1933 года я встретился в Буа де Булонь с корреспондентом ТАСС Владимиром Роммом, чтобы через его посредство привлечь русских троцкистов к союзу с Гитлером и микадо. Но "Юманите" ничего этого не подозревала: как раз в день моего приезда во Францию она опубликовала статью, разоблачавшую мой тайный союз с правительством Деладье. Прикрывая интриги белой эмиграции и приглашая Троцкого, — так писал орган Сталина—Кашена—Тореза, — "французская буржуазия обнажает свою истинную политику в отношении Советского Союза: переговоры по необходимости, улыбки по нужде, но за кулисами — помощь и поддержка всем саботажникам, интервенционистам, конспираторам, клеветникам и

ренегатам революции... Из Франции, из этого очага антисоветской борьбы, он может атаковать СССР... Стратегический Пункт! Вот почему прибывает г.Троцкий".

Все позднейшие формулы прокурора Вышинского налицо: конспирация, саботаж, подготовка интервенции. Но есть разница: преступной деятельностью я занимался в союзе с французской буржуазией, а не с германским фашизмом.

Может быть, однако, злополучная "Юманите" была попросту не в курсе дела? Нет, парижский орган Сталина правильно отражал взгляды работодателя. Тяжеловесная мысль московской бюрократии никак не хотела покидать старой орбиты. Союз с Германией, независимо от ее государственной формы, считался аксиомой внешней политики Советов.

13 декабря 1931 года Сталин в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом заявил: "Если уж говорить о наших симпатиях к какой-либо нации, то, конечно, надо говорить о наших симпатиях к немцам... Наши дружественные отношения к Германии остаются такими же, какими были до сих пор". Сталин имел даже неосторожность прибавить: "Имеются политики, которые сегодня обещают или заявляют одно, а на следующий день либо забывают, либо отрицают то, о чем они заявляли, и при этом даже не краснеют. Так мы не можем поступать".* Правда, это было еще в эпоху веймарской республики. Но победа фашизма вовсе не изменила московского курса. Сталин делал все, чтобы заслужить благорасположение Гитлера.

4 марта 1933 года правительственные "Известия" писали, что СССР является единственным государством, которое не питает враждебных чувств по отношению к Германии, и "это независимо от формы и характера германского правительства".

Парижский "Ле Тан" отмечал, со своей стороны, 8 апреля 1933 года: "В то время как приход Гитлера к власти живо занимал европейское общественное мнение и вызывал всюду

---

* Эти цитаты взяты из официального советского издания: "Ленин и Сталин о советской конституции", с. 146, 147.

обильные комментарии, московские газеты хранили молчание". Сталин пытался купить дружбу победителя, повернувшись спиною к немецкому рабочему классу.

Общая картина, таким образом, ясна. В тот период, когда я, согласно позднейшей, ретроспективной версии, занимался организацией сотрудничества с Гитлером, печать Москвы и Коминтерна изображала меня агентом Франции и англосаксонского империализма. В германо-японский лагерь я был перечислен лишь после того, как Гитлер оттолкнул протянутую руку Сталина и заставил его вопреки первоначальным планам и расчетам искать дружбы "западных демократий". Обвинения против меня были и остаются лишь отрицательным дополнением дипломатических поворотов Москвы. Перемены моей политической ориентации происходили каждый раз без малейшего участия с моей стороны. Однако между двумя прямо противоположными и в то же время вполне симметричными версиями клеветы есть серьезная разница. Первая версия, превращавшая меня в агента бывшей Антанты, имела преимущественно литературный характер. Клеветники клеветали, газеты распространяли отраву, но Вышинский еще не выходил из тени. Правда, ГПУ и тогда уже время от времени расстреливало отдельных оппозиционеров, приписывая им то саботаж, то шпионаж (в пользу Англии или Франции!). Но дело шло пока еще о малозаметных лицах, расправа производилась за кулисами, в порядке скромных опытов. Сталин только дрессировал еще своих следователей, судей и палачей. Понадобилось время, чтоб довести бюрократию до такой степени деморализации, а радикальное общественное мнение Европы и Америки — до такой степени унижения, когда стали возможны грандиозные судебные подлоги против троцкистов.

Все этапы этой подготовительной работы можно проследить ныне с документами в руках. Сталин не раз наталкивался на внутренние сопротивления и несколько раз отступал, но каждый раз лишь для того, чтоб придать своей работе более систематический характер. Политическая цель состояла в том, чтоб создать автоматическую гильотину для всякого

противника правящей клики: кто не за Сталина, тот наемный агент империализма. Эта грубая схематизация, приправленная личной мстительностью, вполне в духе Сталина. Он, видимо, ни на минуту не сомневался, что "добровольные признания" его жертв убедят весь мир в подлинности обвинений и тем самым раз навсегда разрешат проблему неприкосновенности тоталитарного режима. Оказалось, не так. Процессы повернулись против Сталина. Причина — не столько в грубости подлога, сколько в том, что тиски бюрократии стали окончательно невыносимы для развития страны. Под напором растущих противоречий Сталину пришлось изо дня в день увеличивать радиус подлогов. Кровавой чистке не видно конца. Пожирая собственные ряды, бюрократия неистово кричит о бдительности. В ее криках слышится подчас вой смертельно раненного животного.

Напомним еще раз, что во главе списка изменников стоят все члены Политбюро эпохи Ленина — за вычетом одного Сталина, — в том числе: бывший руководитель обороны в эпоху гражданской войны; два бывших руководителя Коммунистического Интернационала; бывший председатель Совета народных комиссаров; бывший председатель Совета труда и обороны; бывший глава советских профессиональных союзов. Далее следует ряд членов Центрального Комитета и правительства. Фактический руководитель промышленности Пятаков стоял, оказывается, во главе саботажа; заместитель народного комиссара транспорта Лившиц оказался агентом Японии и организатором железнодорожных крушений; главный страж государственной безопасности Ягода — гангстером и изменником; заместитель народного комиссара по иностранным делам Сокольников — германо-японским агентом, как и главный публицист режима Радек. Мало того: вся головка Красной армии состояла на службе врага. Маршал Тухачевский, которого недавно посылали в Англию и Францию для ознакомления с военной техникой дружественных стран, продавал поведанные ему секреты Гитлеру. Политический руководитель армии Гамарник, член ЦК, оказался предателем. Военные представители Франции, Великобритании и Чехословакии совсем недавно отдавали дань признания украинским маневрам, которыми руководил генерал Якир. Оказывается, что Якир подготовлял захват Украины Гитлером. Генерал Уборевич, страж западной границы, собирался сдать врагу Белоруссию. Два бывших начальника Военной академии, генерал Эйдеман и генерал Корк, заслуженные полководцы гражданской войны, готовили своих воспитанников не для победы, а для поражения Советского Союза. В измене обвинены десятки менее известных, но крайне значительных военачальников. Все эти разрушители, саботажники, шпионы, гангстеры, выполняли свою работу не день, не два, а ряд лет. Но если Ягода, Пятаков, Сокольников, Тухачевский и пр. были шпионами, куда годятся Сталин, Ворошилов и другие "вожди"? Какую цену имеют призывы о бдительности, исходящие от Политбюро, которое само обнаружило лишь глупость и слепоту?

Из последней "чистки" режим вышел настолько осрамленным, что органы мировой печати серьезно занялись гаданиями, не впал ли Сталин в безумие. Слишком простое решение вопроса! Сперва считалось, что Сталин оказался победителем, благодаря исключительным качествам своего интеллекта. Когда же рефлексы бюрократии приняли конвульсивный характер, вчерашние почитатели "вождя" начинают спрашивать себя, не сошел ли он с ума. Обе оценки ложны. Сталин не "гениален". В подлинном смысле слова, он даже не умен, если под умом понимать способность охватывать явления в их связи и развитии. Но он и не сумасшедший. Волна термидора подняла его наверх. Он сам поверил, что источник его силы в нем самом. Но каста выскочек, провозгласившая его гением, в короткий срок разложилась и загнила. Стране Октябрьской революции необходим другой политический режим. Положение правящей клики не оставляет более места для разумной политики. "Сумасшествие" не в Сталине, а в исчерпавшем себя режиме. В этом объяснении нет, однако, и тени морального оправдания Сталина. Он сойдет со сцены, как наиболее запятнанная фигура человеческой истории.

В "СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ" НОРВЕГИИ

Почти полтора года, с июня 1935 по сентябрь 1936-го, мы прожили с женой в норвежской деревне Вексал, в 60-ти километрах от Осло, в семье редактора рабочей газеты К.Кнутсена. Место жительства было нам с самого начала указано норвежским правительством. Наша жизнь протекала как нельзя более размеренно и мирно, можно было бы сказать, мелкобуржуазно. К нам скоро привыкли. Отношения с окружающим населением установились почти безмолвные, но вполне дружественные. Раз в неделю мы, вместе с семьей Кнутсен, посещали ближайший кинематограф, где показывались позапрошлогодние сенсации Голливуда. Изредка нас посещали, преимущественно летом, иностранные друзья, в большинстве деятели левого крыла рабочего движения. Жизнь мира мы подслушивали по радио: этим волшебным и несносным инструментом мы начали пользоваться не больше как три года тому назад. Больше всего мы поражались, слушая административные разговоры советских бюрократов. Эти люди чувствуют себя в эфире, как у себя дома. Они повелевают, грозят, бранятся, не соблюдая элементарной осторожности в отношении государственных секретов.

Враждебные штабы извлекают, несомненно, наиболее ценную информацию из откровенности больших и малых советских "вождей". И все это творится в стране, где человек, заподозренный в оппозиции, рискует немедленно быть обвиненным в "шпионаже"!.. Центральным моментом каждого дня в Вексале было получение почты. Около часу пополудни мы нетерпеливо поджидали инвалида-почтальона, который доставлял нам — зимой на салазках, летом на велосипеде — тяжелую пачку газет и писем с марками всех частей света. Наша необычная корреспонденция причиняла немало бессонных ночей не только полицеймейстеру Хонефоса, маленького соседнего городка с 4-тысячным населением, но и самому социалистическому правительству в Осло, о чем мы узнали, однако, лишь позже.

Как мы попали в Норвегию? Об этом необходимо сказать несколько слов. Норвежская рабочая партия принадлежала раньше к Коминтерну, потом порвала с ним, — не только по вине Коминтерна, — но не вошла и во 2-й Интернационал, как слишком для нее будто бы оппортунистический. Когда партия (в 1935 г.) стала у власти, над ней тяготел еще ее вчерашний день. Я поспешил обратиться в Осло за визой, надеясь, что смогу в этой спокойной стране без помех заниматься своей литературной работой. После некоторых колебаний и трений на верхах партии правительство согласилось впустить меня в страну. Условие насчет "невмешательства во внутренюю жизнь" и пр. я подписал без затруднений, так как отнюдь не собирался заниматься норвежской политикой.

При первом соприкосновении с верхами партии на меня пахнуло духом затхлого консерватизма, который так беспощадно обнажен в драмах Ибсена. Центральный орган партии "Арбайтербладет" ссылается, правда, не на Библию и не на Лютера, а на Маркса и Ленина, но остается насквозь пропитан той филистерской ограниченностью, к которой Маркс и Ленин питали непреодолимое отвращение... "Социалистическое" правительство главную свою амбицию полагало в том, чтоб как можно меньше отличаться от своих реакционных предшественников. Вся старая бюрократия оставалась на своих местах. К худу или к добру? Мне пришлось вскоре убедиться на собственном горьком опыте, что иные из буржуазных чиновников обладают более широким горизонтом и более высоким чувством собственного достоинства, чем господа "социалистические" министры. Если не считать полуофициального визита, нанесенного мне вскоре по моем приезде вождем партии Мартином Транмелем и министром юстиции Трюгве Ли, у меня с правительственными верхами не было никаких личных отношений.

С низами партии я также почти не встречался, чтоб не вызывать подозрений во вмешательстве в политику страны. Мы жили с женой, как уже сказано, крайне изолированно и не видели особых оснований жаловаться на это. С семьей Кнутсен у нас установились очень дружественные отношения, из которых политика была, по молчаливому взаимному согла-

шению, совершенно исключена, в промежутках между приступами болезни я работал над книгой "Преданная революция", в которой пытался выяснить причины победы советской бюрократии над партией, над Советами, над народом и наметить перспективы дальнейшего развития СССР.

5 августа 1936 года я отправил первые экземпляры законченной рукописи американскому и французскому переводчикам. В тот же день мы отправились вместе с четой Кнутсен в южную Норвегию, чтоб провести две недели у моря. Но уже на следующее утро, в пути, мы узнали, что в предшествующую ночь на нашу квартиру совершено было норвежскими фашистами нападение с целью овладеть моими архивами. Задача сама по себе не представляла никаких трудностей: дом никем не охранялся, и даже шкафы не запирались. Норвежцы до такой степени привыкли к спокойному ритму своей демократии, что даже от друзей нельзя было добиться соблюдения элементарных правил осторожности. Фашисты нагрянули в полночь, показали фальшивые полицейские значки и попытались немедленно приступить к "обыску". Остававшаяся дома дочь наших хозяев заподозрила неладное, не потерялась, стала с распростертыми руками перед дверью моей комнаты и заявила, что никого не пропустит. Пять фашистов, еще неопытных в своем ремесле, опешили перед мужеством молодой девушки. Тем временем младший брат ее поднял тревогу. Показались в ночных одеяниях соседи. Потерявшие голову герои бросились наутек, захватив с ближайшего стола несколько случайных документов.

Полиция без труда установила на следующий день личность нападавших. Могло показаться, что жизнь снова войдет в спокойные берега. Продолжая путь на юг, мы скоро установили, что за нами по пятам следует автомобиль с четырьмя фашистами, под командой шефа пропаганды, инженера Н. Только под самый конец путешествия нам удалось отделаться от преследователей: мы попросту не допустили их автомобиль на паром, который перевозил нас на другую сторону фиорда. Сравнительно спокойно мы прожили около десятка дней на маленьком островке, в единственном рыболовном домике среди скал.

Тем временем близились выборы в стортинг. Каждый из лагерей искал сенсационного номера для своей не очень оригинальной программы. Издания правительственной партии (в Норвегии, где всего 3 миллиона населения, рабочая партия имеет 35 ежедневных газет и десяток еженедельных!) открыли кампанию против фашистов, в очень, впрочем, умеренных тонах. Правая печать ответила настоящей травлей против меня и против правительства, давшего мне визу. Мои политические статьи, беспрепятственно печатавшиеся в разных странах мира, тщательно подбирались теперь норвежской реакционной прессой, наспех переводились и перепечатывались одна за другой, под самыми сенсационными заголовками. Неожиданно я оказался в центре норвежской политики. В рабочих массах нападение фашистов вызвало необычайное возмущение. "Мы вынуждены лить масло на волны, — жаловались с глубокомысленным видом социал-демократические вожди. — Почему собственно? — Потому что иначе массы разнесут фашистов в куски".

Опыт ряда европейских стран решительно ничему не научил этих господ: они предпочитают ждать, когда фашисты разнесут в куски их самих. Я воздерживался от полемики даже в частных разговорах: каждое неосторожно сказанное слово рисковало попасть в печать. Не оставалось ничего другого, как пожимать плечами и выжидать. Еще в течение нескольких дней мы карабкались по скалам и ловили рыбу.

Тем временем на Востоке сгущались гораздо более грозные тучи. Оттуда собирались возвестить всему миру, что я работаю над низвержением Советов рука об руку с национал-социалистами. Налет на мои архивы и бешеная травля против меня фашистской печати явились для Москвы чрезвычайно некстати. Но нельзя же было останавливаться из-за таких пустяков! Наоборот, возможно, что под влиянием норвежских событий там решили даже ускорить инсценировку процесса. Незачем говорить, что советское посольство в Осло не теряло времени даром.

13 августа на наш островок прилетел из Осло на аэроплане начальник уголовной полиции Свэн, чтоб допросить меня в

качестве свидетеля по делу о налете фашистов. Столь спешный допрос был произведен по прямому распоряжению министра юстиции: уж это одно не предвещало ничего хорошего. Свэн показал мне захваченное у меня фашистами и уже опубликованное норвежской прессой письмо (совершенно невинное по содержанию) к одному из друзей в Париже и просил дать разъяснения по поводу моей деятельности в Норвегии. Полицейский чиновник мотивировал свои вопросы тем, что фашисты в оправдание ночного набега ссылаются на преступный характер моей деятельности. Один из фашистских адвокатов потребовал даже от государственного прокурора привлечения меня к ответственности за деяния, могущие "вовлечь Норвегию в войну с другими государствами".

Поведение самого Свэна было вполне корректно: он явно чувствовал неуместный характер вопросов, продиктованных ему сверху. В результате моих подробных показаний он заявил представителям печати, что не находит в моих действиях ничего противного законам или враждебного интересам Норвегии. Можно было снова подумать, что "инцидент исчерпан". На самом деле он только развертывался. Министр юстиции, недавний член Коммунистического Интернационала, нимало не сочувствовал либеральной слабости начальника уголовного розыска. Еще менее оказался склонен к снисходительности премьер Нигордсвольд. Он горел стремлением доказать твердую руку, — конечно, не против фашистов, учинивших налет на мою квартиру. Фашисты оставались на свободе под защитой демократической конституции.

14 августа ТАСС пустило по всему миру сообщение о раскрытии террористического заговора троцкистов и зиновьевцев. Первым из нас услышал по норвежскому радио это сообщение наш квартирохозяин Конрад Кнутсен. Но на островке не было электричества, антенны были очень примитивны и, как назло, аппарат работал в этот вечер из рук вон плохо. "Троцкистско-зиновьевские группы"... "контрреволюционная деятельность"... вот все, что Кнутсен мог уловить.

— Что это значит? — спросил он меня.

— Какая-нибудь крупная гадость со стороны Москвы! — ответил я.

— Но какая именно?

На рассвете прибыл из соседнего города Кристиансанда дружественный норвежский журналист с записью сообщения ТАСС.

Готовый ко многому, даже ко всему, я все же не верил глазам: сообщение показалось мне невероятным по сочетанию подлости, наглости и глупости.

— Хорошо, терроризм — это еще можно понять... Но гестапо... — повторял я в изумлении, — так и сказано: гестапо?

— Да, так и сказано.

— Значит, после недавнего нападения фашистов сталинцы обвиняют меня в союзе с фашистами?

— Да, выходит так...

— Нет, всему есть пределы: подобное сообщение мог составить только безграмотный и пьяный агент-провокатор!..

Я немедленно продиктовал журналисту свое первое заявление по поводу предстоящего процесса. Надо было готовиться к борьбе, ибо близился грандиозный удар: ради второстепенных целей Кремль не стал бы компрометировать себя столь отвратительным подлогом.

Процесс застал врасплох не только мировое общественное мнение, но и Коминтерн. Норвежская коммунистическая партия, несмотря на всю враждебность ко мне, назначила открытое собрание протеста против налета фашистов на 14 августа... за несколько часов до того, как ТАСС причислил меня самого к фашистам. После этого французский орган Сталина "Юманите" опубликовал телеграмму из Осло о том, что фашисты нанесли мне ночью дружественный "визит" и что норвежское правительство усмотрело в этом ночном свидании вмешательство с моей стороны во внутреннюю политику страны. Эти господа отвыкли стесняться и, во всяком случае, готовы на все, чтоб оправдать свое жалованье.

Уже в своем первом заявлении печати я требовал гласного расследования московских обвинений. Дополнительно к своим показаниям я отправил Свэну письмо, предназначенное для печати.

"Давая мне визу, — писал я, — правительство этой страны знало, что я революционер и один из инициаторов создания нового Интернационала. Строго воздерживаясь от вмешательства во внутреннюю жизнь Норвегии, я не думал и не думаю, что норвежское правительство призвано контролировать мою литературную деятельность в других странах, тем более что нигде мои книги и статьи не были предметом судебного преследования. Моя переписка проникнута теми же идеями, что мои литературные работы. Они могут не нравиться фашистам или сталинцам, но тут я не могу ничего поделать. За последние дни имел, однако, место новый факт, отбрасывающий далеко назад все, что писала обо мне реакционная печать. Московское радио обвиняет меня в неслыханных преступлениях. Если бы хоть часть этих обвинений была верна, я действительно не заслуживал бы гостеприимства норвежского, как и всякого другого народа. Но по поводу московских обвинений я готов немедленно дать отчет перед любой беспристрастной следственной комиссией, перед любым открытым судом. Я берусь доказать, что преступниками являются сами обвинители".

Это письмо было опубликовано в большинстве норвежских газет. Надо отметить, что печать правительственной партии заняла с самого начала по отношению к московскому процессу позицию открытого недоверия. Мартин Транмель и его коллеги недаром принадлежали в недалеком прошлом к Коминтерну: они знали, что такое ГПУ и каковы его методы! К тому же настроение рабочих масс, всколыхнутых фашистским нападением, было целиком за меня. Правая печать совершенно потеряла голову: до вчерашнего дня она утверждала, что я действую в тайном союзе со Сталиным по подготовке восстаний в Испании, Франциии, Бельгии и, конечно, в Норвегии. Она не отказывалась от этих обвинений и сегодня. В то же время она становилась на защиту московской бюрократии от моих террористических покушений.

К началу московского процесса мы успели вернуться с нашего острова в Вексал. По норвежским газетам я со словарем разбирал судебные отчеты ТАСС. Чувство было такое,

точно попал в дом буйно помешанных. Нашу квартиру и наш телефон осаждали журналисты. Норвежское телеграфное бюро пока что добросовестно передавало мои опровержения, которые расходились по всему миру. Как раз в этот момент прибыли на помощь мне молодые друзья. уже и в прошлом выполнявшие обязанности моих секретарей: Эрвин Вольф из Чехословакии и Жан ван-Ейженорт из Франции. Они оказались совершенно незаменимы в те тревожные и горячие дни, когда мы жили ожиданием двух развязок, из которых одна подготовлялась в Москве, а другая — в Осло.

Без убийства обвиняемых никто не принял бы обвинения всерьез. Я с уверенностью ждал расстрелов, как неминуемого финала. И тем не менее, когда я по парижскому радио услышал (голос спикера дрогнул, когда он сообщал эту весть), что Сталин расстрелял всех подсудимых, в том числе четырех старых членов большевистского ЦК, я с трудом поверил сообщению. Не жестокость расправы сама по себе потрясала: эпоха революций и войн — жестокая эпоха, и она есть наше отечество во времени. Потрясали холодная злонамеренность подлога, нравственный гангстеризм правящей клики, попытка обмануть общественное мнение всего человечества в лице нынешнего и грядущих поколений.

Мировая печать всех направлений встретила московский процесс с явным недоверием. Даже профессиональные "друзья" растерянно молчали. Из Москвы не без труда раскачивали разветвленную сеть подчиненных, полуподчиненных и "дружественных" организаций. Международная машина клеветы постепенно приходила в движение: в смазочных материалах недостатка не было. Главным передаточным механизмом служил, разумеется, аппарат Коминтерна. Норвежская коммунистическая газета, которая еще накануне оказалась вынужденной взять меня под защиту от фашистов, сразу переменила тон. Теперь она требовала от правительства, чтоб меня выслали из страны и прежде всего, чтобы мне зажали рот. Функции нынешней печати Коминтерна известны: когда она свободна от второстепенных поручений советской дипломатии, она выполняет наиболее грязные задания ГПУ. Те-

легграф между Москвой и Осло работал без остановки. Ближайшая задача состояла в том, чтоб помешать мне разоблачить подлог. Усилия не пропали даром. В норвежских правительственных сферах произошел перелом, которого широкие круги партии сперва не заметили, а затем не поняли. О наиболее интимных пружинах этого перелома мы узнаем не скоро...

26 августа после того как наш двор был занят восьмью полицейскими в штатском, на квартиру к нам явились начальник норвежской полиции Асквиг и чиновник Центральной паспортной конторы, в руках которой сосредоточено наблюдение за иностранцами. Высокие посетители предложили мне подписать заявление о моем согласии на новые условия пребывания в Норвегии: отныне я обязуюсь не писать на актуальные политические темы, не давать интервью и выражаю сверх того — свое согласие на то, чтобы вся моя корреспонденция, входящая и исходящая, просматривалась полицией. Ни словом не упоминая о московском процессе, документ, в качестве доказательства моей преступной деятельности, приводил лишь мою статью о французских делах, напечатанную в американском еженедельнике "Nation"* и мое собственное открытое письмо начальнику уголовного розыска Свэну.

Было совершенно очевидно, что норвежское правительство пользуется первым попавшимся предлогом, чтоб прикрыть действительные причины своего поворота. Только позже я понял, зачем правительству понадобилась моя подпись: норвежская конституция не предусматривает никаких ограничений для лиц, неопороченных по суду. Находчивому министру юстиции не оставалось ничего другого, как исправить пробел в основных законах при помощи моего "добровольного" ходатайства о наложении на меня ручных и ножных кандалов. Я наотрез отказался. Министр немедленно поручил передать мне, что отныне журналисты и вообще посторонние лица не будут допускаться ко мне; новое местожительство будет мне и моей жене вскоре указано правительством. Я попытался разъяснить министру письменно некоторые простые истины: чиновник, заведующий паспортами, вовсе не

* Следуя за оригиналом, редакция оставляет ряд собственных имен без перевода на русский язык.

компетентен контролировать мою литературную деятельность; к тому же ограничивать свободу моих сношений с печатью в момент, когда я являюсь мишенью злонамеренных обвинений, значит, становиться на сторону обвинителей. Все это было правильно, но у советского посольства нашлись более сильные аргументы.

На другое утро полицейские отвезли меня в Осло для допроса все еще в качестве "свидетеля" по делу о налете фашистов. Следователь проявил, однако, очень мало интереса к налету. Зато в течение двух часов он допрашивал меня о моей политической деятельности, о моих связях и о моих посетителях. Длительные прения завязались вокруг вопроса о том, критикую ли я в своих статьях правительства других государств. Я этого, разумеется, не отрицал. Судья находил, что такая критика противоречит данному мною обязательству избегать действий, враждебных другим государствам. Я отвечал, что правительство и государство отождествляются только в тоталитарных странах. Демократический режим не рассматривает критику правительства как нападение на государство. Что сталось бы в противном случае с парламентаризмом? Единственный разумный смысл подписанного мною условия был тот, что я обязался не превращать Норвегию в операционную базу для какой-либо нелегальной, заговорщической деятельности. Но мне и в голову не могло прийти, что, находясь в Норвегии, я не могу публиковать в других странах статей, не противоречащих законам этих стран. У судьи были, однако, на этот счет другие взгляды или, по крайней мере, другие директивы, не вполне, правда, членораздельные, но зато, как оказалось, достаточные для моего интернирования.

Из судебного помещения меня провели к министру юстиции, который принял меня в окружении высоких чинов своего министерства. Мне опять предложено было подписать, лишь с незначительными изменениями, то самое ходатайство о гласном полицейском надзоре, которое я отверг накануне.

— Если вы хотите арестовать меня, зачем вам мое разрешение?